

СБОРНИКЪ  
КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

0

**Н. А. НЕКРАСОВЪ.**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

35 *мурман*  
1865—1873.

СОСТАВИЛЪ

**В. Зелинскій.**

141

63 64

103-104

112

114 125



МОСКВА.

Типографія Э. Лиснера и Ю. Романа, Арбатъ, д. Платонова.  
1887.



108

СБОРНИКЪ

РЪДЪ НА ПЪРВИЯ СБОРНИКЪ

Н. А. НЕКРАСОВЪ

ПЪРВОЕ ИЗДАНИЕ

1873

ВЪ МОСКВѢ

Въ составъ настоящей второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло 27 отдѣльныхъ полныхъ критико-библіографическихъ статей, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ въ періодъ времени отъ 1865-го по 1873 годъ включительно; кромѣ того, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги указано 34 статьи за тотъ же періодъ времени.

В. Зелинскій.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стран.
Предисловіе . . . . .	III
Критика шестидесятыхъ годовъ . . . . .	1
1865-й годъ . . . . .	—
1866-й годъ . . . . .	6
1867-й годъ . . . . .	10
1868-й годъ , . . . .	12
1869-й годъ . . . . .	20
Критика семидесятыхъ годовъ . . . . .	25
1870-й годъ . . . . .	—
1872-й годъ . . . . .	62
1873-й годъ . . . . .	103
Указатель страницъ, на которыхъ разбираются и упоми- наются произведенія Некрасова . . . . .	167





## КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

(Продолженіе.)

1865 г.

\*) Бываютъ зимой ужасающія явленія. Одно изъ нихъ описалъ Некрасовъ съ поразительною естественностію и силою. Вотъ оно: Умеръ крестьянинъ; его схоронили; жена его на это время отвела дѣтей своихъ къ знакомымъ, чтобы кто-нибудь присмотрѣлъ за ними. Вернувшись домой съ кладбища, она хотѣла взглянуть на нихъ, приласкать ихъ; но ни смотрѣть, ни ласкать некогда: изба не топлена, и дома дровъ—ни полѣна. Она отправляется въ лѣсъ рубить ихъ.

Морозно. Равнины бѣлѣютъ подъ снѣгомъ;  
Чернѣется лѣсъ впередъ.  
Савраска плетется ни шагомъ, ни бѣгомъ.  
Не встрѣтишь души на пути.  
Какъ тихо! Въ деревнѣ раздавшійся голосъ  
Какъ будто у самого уха гудеть;  
О корень древесный запнувшійся полозъ  
Стучить и визжитъ, и за сердце скребетъ.  
Кругомъ поглядѣть нѣту мочи:  
Равнина въ алмазахъ блеститъ.  
У Дарьи слезами наполнились очи;  
Должно быть ихъ солнце слѣпить.  
Въ поляхъ было тихо; но тише  
Въ лѣсу и какъ будто свѣтлѣй.  
Чѣмъ далѣ—деревья все выше,  
А тѣни длиннѣй и длиннѣй.  
Деревья, и солнце, и тѣни,  
И мертвый могильный покой...

\*) «Журналъ для дѣтей» 1865 г. № 12.

Но, чу! заунывные пѣсни,  
Глухой, сокрушительный вой!  
Осидило Дарьюшку горе,  
И лѣсъ безучастно внималъ,  
Какъ стоны лились на просторѣ,  
И голосъ рвался и дрожалъ.  
И солнце, кругло и бездушно,  
Какъ желтое око совы,  
Глядѣло съ небесъ равнодушно  
На тяжкія муки вдовы.  
И много ли струнъ оборвалось  
У бѣдной крестьянской души,  
Навѣки сокрыто осталось  
Въ лѣсной нелюдимои глуши.  
Великое горе вдовицы  
И матери малыхъ сиротъ  
Подслушали вольныя птицы,  
Но выдать не смѣли въ народъ.

—  
Не псарь по дубровушкѣ трубить,  
Гогочеть сорви-голова;  
Наплакавшись, колетъ и рубить  
Дрова молодая вдова.  
Срубивши на дровни бросаетъ —  
Наполнить бы ихъ поскорѣй, —  
И врядъ ли сама замѣчаетъ,  
Что слезы все льютъ изъ очей:  
Иная съ рѣсницы сорвется  
И на снѣгъ сразмаху падетъ,  
До самой земли доберется,  
Глубокую ямку прожжетъ;  
Другую на дерево кинетъ,  
На плашку, — и смотришь, она  
Жемчужиной крупной застынетъ,  
Бѣла, и кругла, и плотна.  
А та на глазу поблистаетъ,  
Стрѣлой по щекѣ побѣжитъ,  
И солнышко въ ней поиграетъ...  
Управится Дарья спѣшить,  
Знай, рубить, не чувствуетъ стужи,  
Не слышитъ, что ноги знобить,  
И полная мыслью о мужѣ,  
Зоветь его, съ нимъ говорить....

(Далѣе описывается въ высшей степени естественное причитанье несчастной женщины: тутъ въ безсвязномъ броженіи тоскливой

мысли проходить вся трудовая жизнь крестьянки, припоминается прошедшее, сами собой навязываются опасенія обидъ, притѣсненій, которые могутъ пасть на вдову. Между тѣмъ, тоскуя и плача, она все рубить, да рубить дрова. Наконецъ нарубила столько, что не увезть на возу).

Окончивъ привычное дѣло,  
На дровни поклала дрова,  
За вожжи взялась и хотѣла  
Пуститься въ дорогу вдова.  
Да вновь призадумалась, стоя,  
Топоръ машинально взяла  
И, тихо, прерывисто воя,  
Къ высокой соснѣ подошла.  
Едва ее ноги держали;  
Душа истомилась тоской;  
Настало затишье печали —  
Невольный и страшный покой!  
Стоитъ подъ сосной чуть живая,  
Безъ думы, безъ стона, безъ слезъ.  
Въ лѣсу тишина гробовая;  
День свѣтелъ; крѣпчаетъ морозъ.

(Тутъ поэтъ олицетворяетъ морозъ въ видѣ лѣсного волшебника, отъ дыханья котораго Дарьюшка засыпаетъ и во снѣ видитъ очаровательныя картины счастья — мужа, свѣжаго, здороваго и веселаго, дѣтей, ихъ довольство и наслажденіе, лѣтнія работы, слышать пѣсни деревенскія, и улыбается; а между тѣмъ, она замерзаетъ).

Чу, пѣсни! знакомые звуки!  
Хорошъ голосокъ у пѣвца...  
Последніе признаки муки  
У Дарьи исчезли съ лица;  
Душой улетаю за пѣсней,  
Она отдалась ей вполнѣ...  
Нѣтъ въ мірѣ пѣсни прелестнѣй,  
Которую слышимъ во снѣ.  
О чемъ она — Богъ ее знаетъ:  
Я словъ уловить не умѣлъ;  
Но сердце она утешаетъ:  
Въ ней дальняго счастья предѣлъ;  
Въ ней кроткая ласка участія,  
Объты любви безъ конца...  
Улыбка довольства и счастья  
У Дарьи не сходитъ съ лица.

Какой бы цѣной ни досталось  
Забвеніе крестьянѣ моей,  
Что нужды? Она улыбалась.  
Жалѣть мы не будемъ о ней.  
Нѣтъ глубже, нѣтъ слаще покоя,  
Какой посылаетъ намъ лѣсъ,  
Недвижно, безтрепетно стоя  
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ.  
Нигдѣ такъ глубоко и вольно  
Не дышитъ усталая грудь,  
И ежели жить намъ довольно,  
Намъ слаще нигдѣ не уснуть!

Ни звука! Душа умираетъ  
Для скорби, для страсти. Стоишь  
И чувствуешь, какъ покоряетъ  
Ее эта мертвая тишь.  
Ни звука! И видишь ты синій  
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,  
Въ серебряно-матовый иней  
Наряженный, полный чудесъ,  
Влекущій невѣдомой тайной,  
Глубоко-безстрастный... Но вотъ  
Послышался шорохъ случайный:  
Вершинами бѣлка идетъ;  
Комъ снѣгу она уронила  
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ.  
А Дарья стояла и стыла  
Въ своемъ заколдованномъ снѣ....

Вотъ зимняя исторія! Пока ее читаешь, сердце такъ наболѣетъ, такъ много мыслей и чувствъ взворочится въ душѣ, что не знаешь, на чемъ остановиться. Прежде всего поражаетъ этотъ разладъ между ровнымъ, стройнымъ, торжественнымъ ходомъ природы и волненіями человѣческой жизни, неожиданными, непредвидѣнными превратностями нашей судьбы. Потомъ, никакъ не защитишься отъ чувства печали, когда представишь, что какое бы несчастіе, какое бы горе ни случилось съ человѣкомъ, природа остается къ нему безучастною, безжалостно-холодною; отъ печали его не поникнетъ головкой ни одинъ цвѣтокъ, отъ рыданій его не встрепенется сочувствіемъ ни одна клѣточка, ни одинъ сосудъ дерева; солнце весело и прелестно играетъ въ слезѣ страдающей матери и жены, морозъ сковываетъ ее въ прекрасную бѣлую жемчужину. — Да, и

въ людяхъ-то, которымъ это понятно, которымъ дано чувство, чтобы понимать это, тоже — не много участія: пришли, простились съ покойникомъ, положили по свѣчкѣ, да и пошли домой; закопали въ землю своего брата, своего товарища, сосѣда, знакомаго, друга, потолковали, да и взялись за дѣло, или бездѣлье, и о немъ ужъ помину нѣтъ. Конечно, иначе это и быть не можетъ; а все-таки жаль человѣка, котораго покидаютъ и забываютъ. Но сильнѣе, рѣзче, раздражительнѣй всего дѣйствуетъ на душу воображеніе нужды, тяготящей до того, что мужику некогда отдаться самому глубокому, самому святому чувству; заботы, мелкія, ничтожныя, унижительныя ежеминутно поглощаютъ все существо его; и такъ идутъ день-за-день многіе десятки лѣтъ безцвѣтной, однообразной и сухой вереницей. И чтобы у него ни случилось — свадьба, крестины, похороны, заѣхалъ гость, уѣзжаетъ на чужую сторону дочь или сынъ — все забота, какъ бы *справиться*, все думай о кускѣ хлѣба, о полнѣнѣ дровъ, о лаптяхъ, объ онучахъ, о шапкѣ на голову, о соломѣ на крышу.

Картины природы описаны съ увлекательною прелестью; наслаждаться бы ими только, упиваться бы этой поэзіей игры свѣта, дрожящаго въ серебрѣ инея, въ алмазахъ снѣга, этой задумчивостью и торжественностью лѣсного затишья: да мѣшаютъ слезы вдовы, прожигающія снѣгъ, ея плачъ, ея рыданія, возмущающія тишину. Но горе ея выражается не однѣми слезами, не однимъ стономъ и плачевными пѣснями, а вмѣстѣ торопливой и печальной работой: бѣдной женщины хотѣлось поскорѣй нарубить дровъ — она мечетъ на дровни бревно за бревномъ, плаху за плахой и, отдавшисъ чувству, не замѣчаетъ, что ужъ нарубила довольно, больше, чѣмъ надобно. Въ жалобахъ своихъ она выражаетъ печаль не столько о себѣ, о своей безпомощности, о своемъ одиночествѣ, сколько о преждевременной кончинѣ мужа и о дѣтяхъ. Въ предсмертномъ сновидѣніи ее утѣшаютъ мечты, въ которыхъ представляются ей картины былого, живого счастья. Слава Богу, что она хоть въ обманахъ сновидѣнья находитъ отраду, послѣднюю отраду въ жизни. Но каково будетъ осиротѣлымъ дѣтямъ и осиротѣлымъ старикамъ узнать, что она замерзла въ лѣсу! Что будетъ съ Савраской? Поплетется ли онъ въ деревню ни бѣгомъ, ни шагомъ? Или также замерзнетъ? Или волки съѣдятъ его? Вѣдь, и его жаль! — Но, можетъ быть, бѣдная Дарья еще проснется; можетъ быть, сверкнетъ



у нея мысль о дѣтихъ, возбудить въ ней силу жизни, она вырвется изъ этого заколдованнаго сна и вернется въ свою семью — горевать и работать для ея счастья. Безъ этого предположенія, намъ нѣтъ возможности наслаждаться описаніемъ впечатлѣній покоя зимняго лѣса; а оно художественно въ высшей степени: въ немъ передана вся сила волшебства дикой природы, которая можетъ быть понятна только жителю сѣвера:

«Ни звука! Душа умираетъ  
Для скорби, для страсти. Стоишь  
И чувствуешь, какъ покоряетъ  
Ее эта мертвая тишь.  
Ни звука! И видишь ты синій  
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,  
Въ серебряно-матовый иней  
Наряженный, полный чудесъ,  
Влекущий невѣдомой тайной,  
Глубоко-безстрастный....»

Тутъ нѣтъ живописи, блестящей подробностями; картина рисуется массами предметовъ и увлекаетъ далекою, безпредѣльной перспективой; тутъ нѣтъ разбора различныхъ ощущений: они все сливаются въ одно спокойное, торжественное созерцаніе невѣдомой тайны. Одно сознаніе творческой безконечной силы поглощаетъ всю душу, наполняетъ и очаровываетъ ее невозмутимымъ спокойствіемъ\*).

## 1866 г.

\*) Николай Алексѣвичъ Некрасовъ... лучший современный русскій поэтъ. Внѣшней отдѣлкой стиха онъ не превосходитъ другихъ поэтовъ, не щеголяетъ особенною легкостью и звучностью стиха, богатствомъ приемъ. Стихъ Некрасова часто тяжелъ; но не внѣшней стороною стихотвореній должны мы измѣрять степень дарованія поэта, а его значеніемъ въ жизни общества, его заслугами передъ

\*) Еще за 1865 г. см. о Некрасовѣ: въ «Сѣверномъ Сіяніи» № 2, стр. 31—36 (ст. Вл. Зотова о поэмѣ «Морозъ — красный носъ»); «Циркуляръ Одесскаго учебнаго округа», № 1 (ст. Денисовича о «Несжатой полосѣ»); также упоминается въ сочиненіяхъ А. В. Дружинина: — см. томъ VI (изд. 1865 г.), стр. 634, 684; т. VII, стр. 488, 494, также на страницахъ: 162, 245, 312 и 413.

\*\*) «Иллюстрированная Газета» 1866 г., № 2.

согражданами. Если разсмотримъ поэзію Некрасова съ этой точки зрѣнія, его смѣло можно считать лучшимъ нашимъ поэтомъ. Многіе, конечно, думаютъ въ наше время, что такъ называемыя изящныя искусства совершенно бесполезны, не больше, какъ пріятное препровожденіе времени. Не будемъ доказывать, до какой степени ложно это убѣжденіе; скажемъ только, что и при этомъ невыгодномъ взглядѣ на поэзію, Некрасовъ сдѣлалъ ее полезною, въ глазахъ такъ называемыхъ реалистовъ, и самъ, несмотря на то, что былъ только поэтомъ, а не ворочалъ грудями дѣлъ и полками — сдѣлался полезнѣе, чѣмъ десятки вонтелей и администраторовъ. Поэзія Некрасова имѣетъ сходство съ поэзіей Кольцова; оба они брали сюжетомъ своихъ произведеній жизнь низшихъ классовъ, оба равно сочувствовали имъ въ ихъ горѣ и радовались съ ними ихъ радостями; но разница въ томъ, что Кольцовъ, происходя самъ изъ среды народа и стоявшій не много чѣмъ выше массы, чтобы лучше понять ее, сливается съ ней, тогда какъ Некрасовъ, по развитію стоящій выше ея, старается возвысить ее. Какъ Кольцову принадлежить слава поэта, ознакомившаго впервые общество съ нравственнымъ достоинствомъ низшихъ классовъ, особенно крестьянства, такъ Некрасовъ можетъ гордиться тѣмъ, что первый открылъ глаза обществу на страданія нашей меньшей братіи, заставилъ общество ей сострадать, сочувствовать, а отъ сочувствія до дѣйствительной помощи — недалеко.

\* \* \*

\*) Вся поэтическая дѣятельность Некрасова, замѣчательнаго и по своему поэтическому таланту, и по своимъ строгимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени вѣрнымъ и правдивымъ взглядамъ на жизнь и на искусство, посвящена родной землѣ. Уже за одно это ему должны быть глубоко благодарны, особенно теперь, когда говорится такъ много словъ и дѣлается такъ мало дѣла, что обыкновенно характеризуютъ переходныя эпохи въ жизни общества. Но у Некрасова добрыя намѣренія блистательно перешли въ дѣло, и мы должны считать его главой, ведущимъ народъ къ далекой, хоть и славной цѣли — общему усовершенствованію. Некрасовъ, дѣйствительно, представитель истинной поэзіи, и хотя многіе въ этомъ

---

\*) «Воскресный Досугъ» 1866 г. № 171.



не сознаются, но огромное вліяніе этого поэта и его таланта на общество чувствуется и признается всеми безпристрастными людьми. По этимъ отношеніямъ, связывающимъ его съ обществомъ, по этой пользѣ, которую онъ принесъ ему, Некрасова можно смѣло называть лучшимъ русскимъ поэтомъ. Конечно, поэтический талантъ Некрасова не особенно гениаленъ, но если мы возьмемъ стихъ звучный, блестящій, красивый, стихъ Майкова или Фета, и сравнимъ его съ иногда шероховатымъ и подчасъ тяжелымъ стихомъ Некрасова, спросимъ, который изъ поэтовъ сильнѣе производитъ впечатлѣніе, думаемъ, что всякій, истинно развитый и здравомыслящій человекъ, не колеблясь предпочтетъ Некрасова. Въ чемъ кроется причина такого страннаго, съ перваго взгляда, предпочтенія? Да очень просто: звучный, гладкій стихъ однихъ всю свою силу и значеніе получаетъ только въ этой внѣшности, за которой часто скрывается какая-нибудь узкая мысль, какой-нибудь односторонній взглядъ, а иногда и вовсе ничего не скрывается, тогда какъ тяжелый стихъ Некрасова, не пренебрегая внѣшностью, но и не ставя ее на первый планъ, обращаетъ все вниманіе на значеніе стиха, на его внутреннюю сторону, на мысль, имъ выраженную. Но Некрасовъ не удовольствовался этимъ, не остановился, а выработавъ серьезный и вѣрный взглядъ на искусство, пошелъ далѣе, помня, что прежде чѣмъ быть поэтомъ, онъ долженъ быть гражданиномъ. Онъ соединилъ въ себѣ оба высокія званія и явился первымъ русскимъ поэтомъ-гражданиномъ. Поэтому, если разсматривать его произведенія, то, отдавая имъ должное съ точки зрѣнія искусства, надо посмотрѣть на нихъ и съ точки зрѣнія гражданственности. Произведенія Некрасова выдержатъ и этотъ строгій судъ, выйдутъ изъ него съ честью. Всякій, кто читалъ его «Коробейниковъ», «Морозъ», «На Волгѣ», «Извозчика», «Тройку», «Школьника», «Пѣсню Еремюшки» и мн. др. сознается, что они не только безусловно прекрасны въ художественномъ отношеніи, но и полны глубокаго значенія для русскаго общества. Въ нихъ онъ первый затронулъ такіе вопросы, которыхъ долго до него не замѣчали, или просто боялись затрогивать; въ нихъ онъ представляетъ обществу, какъ живутъ младшіе члены его, и съ грустью и состраданіемъ описывая ихъ положеніе, укоряетъ старшихъ членовъ за то, что они допустили своихъ собратій опуститься такъ низко, и до сихъ поръ многіе не хотятъ подать имъ руки, чтобъ вырвать ихъ изъ грязи и поставить на ступень, пред-

назначенную человѣку. Въ этомъ указываніи обществу его язвъ, но не съ цѣлью растравить ихъ, а напротивъ, желая залѣчить, уничтожить, заключается глубокое значеніе Некрасова въ русской литературѣ. Постоянно обращаясь къ низшимъ классамъ, вызывая состраданіе, сочувствіе къ нимъ высшихъ — онъ такимъ образомъ занялъ благородную роль представителя первыхъ, защитника ихъ интересовъ и, надо сказать, на этомъ мѣстѣ принесъ онъ посильную, но важную по своимъ послѣдствіямъ пользу. Онъ не зарылъ своего таланта въ землю, а напротивъ, слѣдуя выработанному имъ взгляду, сдѣлалъ все, что долженъ сдѣлать гражданинъ и даже больше, чѣмъ сколько мы требуемъ отъ поэта. Таковы должны быть и всѣ поэты; они должны понять, что имъ слѣдуетъ не заключаться въ тѣсную сферу искусства, а свой талантъ — употребить на служеніе обществу, или, еще лучше, на служеніе всему человѣчеству...

Стихотвореніе «Бѣду ли ночью по улицѣ темной» принадлежитъ къ лучшимъ и удачнѣйшимъ произведеніямъ нашего замѣчательнаго поэта — Н. А. Некрасова. Мы не скажемъ, чтобъ оно было проникнуто теплымъ чувствомъ грусти и состраданія къ человѣчеству болѣе другихъ его стихотвореній. но въ немъ затронутъ вопросъ, который невольно заставляетъ задумываться и вызываетъ много тяжелыхъ и грустныхъ мыслей, и затронутъ онъ такъ, что это простое, повидимому, стихотвореніе вызываетъ изъ глазъ слезы. Содержаніе его просто: это грустная повѣсть, гдѣ слабые находятся подъ гнетомъ сильныхъ и гдѣ изъ этой вопіющей несправедливости. изъ этого неестественнаго положенія исходъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ, при существованіи прежняго порядка дѣлъ, при прежнемъ строѣ жизни общества. Только здѣсь существомъ страдающимъ, угнетеннымъ является женщина, и это еще болѣе привлекаетъ къ этому существу симпатію и дѣлаетъ это стихотвореніе еще болѣе замѣчательнымъ. Бѣдная женщина эта съ дѣтства чувствовала на себѣ гнѣтъ, дѣлавшій еще хуже ея, и безъ того тяжелое, какъ у всякой русской женщины, положеніе. Сперва подавлялъ ея самостоятельность гнѣтъ отца, потомъ она, какъ товаръ, перешла въ руки мужа, который также, пользуясь своими правами, въ настоящее время справедливыми только въ глазахъ самыхъ грубыхъ и неразвитыхъ людей — безчеловѣчно угнеталъ ее. Но не выдержала она — гнилыя общественныя условія и гнѣтъ, столько лѣтъ надъ ней тяготѣвшій не успѣли сломать ея могучей натуры: она бѣжала отъ деспота-

мужа и встрѣтилась съ человѣкомъ, котораго полюбила. Но не на радость было ей и это: все счастье, которое ихъ ожидало, погнѣло глупо, навсегда, отъ недостатка матеріальныхъ средствъ. Умъ ихъ умеръ, и мать, чтобъ купить ему гробъ и утолить мучившій ея голодъ, должна была продать себя и вступить въ разрядъ тѣхъ женщинъ, которыхъ такъ глубоко презираетъ наше высоко-правственное общество. Впрочемъ, она давно уже и нѣсколько разъ была продаваема и общество молчало, глядя на все это, какъ на дѣло совершенно натуральное и справедливое, но какъ только она сама рѣшилась продать себя, что было единственнымъ исходомъ изъ ея положенія, это общество, которое не дало ей куса хлѣба, чтобъ утолить голодъ, побудившій ее къ такому поступку, отшатнулось отъ нея и подавило ее своимъ презрѣніемъ... Да, много думъ вызываетъ это стихотвореніе и будетъ вызывать до тѣхъ поръ, пока проклятія поэта, теперь безполезно зампрающія, сдѣлаютъ наконецъ свое дѣло: общество воспринять, сбросить съ себя всю ложь и гниль, отъ которой ему давно пора освободиться и смѣло поидетъ впередъ, куда уже давно призываютъ его отдѣльныя личности, во имя истины, добра и любви... \*)

1867

Писаревъ въ статьѣ: «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ» мимоходомъ отзывается и о Некрасовѣ.

\*) «У нашихъ лириковъ, говоритъ онъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физіономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго, узенькаго, психическаго міра; какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно

\*) Еще см. о Некрасовѣ за 1866 г.: «С.-Петербургскія Вѣдомости», № 78 («Писни о свободномъ словѣ»); «Кіевошское Обозрѣніе», №№ 13 и 14, стр. 193 и 215 (ст. В. Выхова).

\*\*) Сочиненія П. И. Писарева. Ч. 1-я.

при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ — все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какими манерами любить свою возлюбленную г. Фетъ, или г. Мей, или г. Половскій? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскими поэтами, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, глубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похощеній и вѣжныхъ чувствованій. Впрочемъ, опять-таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обесуживать вашу дѣятельность, какъ *мнѣ* угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и безцвѣтною. Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: «Филантропъ», «Эпиграфъ къ ненаписанной поэмѣ», «Бду ли ночью по улицѣ темной», «Саша», «Живя согласно съ строгою моралью», — тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любитъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развитогаго человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, грезвое міросозерцаніе, какъ творца: «Трехъ смертей», «Савопа-роллы», «Приговора» и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ верификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ\*).

Подводя итоги своей статьи («Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ»), Писаревъ между прочимъ говоритъ: «Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ (Пис. Тург. и Гонч.) важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова\*).

\*) Критическая статья Писарева — «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ» первоначально появилась въ печати въ 1861 г. въ «Русскомъ Словѣ», №№ 11 и 12. — Еще

1868 г.

\*) Упомянул о стихотвореніяхъ Некрасова, помѣщенныхъ въ январской книгѣ «Отеч. Записокъ» за 1868 г. М. А. Загуляевъ говорить: «Странное впечатлѣніе производили на меня эти плоды поэтическихъ досуговъ нѣкогда столь любимого публикою стихотворца. Лично мы никогда не сочувствовали жанру г. Некрасова. На насъ всегда непріятно дѣйствовало его натягиваніе за волосы разныхъ идей гражданской скорби, но все-таки мы не могли не признать творческой силы и потрясающаго эффекта многихъ изъ этихъ стихотвореній. Чѣмъ-то могучимъ вѣяло отъ стиха г. Некрасова, и это невольно заставляло относиться съ уваженіемъ даже и къ такимъ вещамъ, какъ «Филантропъ» и нѣкоторыя позднѣйшія сатиры, напримеръ, «Убогая и нарядная» и проч. Увы! ничего подобнаго не встрѣтили мы въ двухъ новыхъ сатирахъ г. Некрасова: «Судъ» и «Притча о киселѣ». Чѣмъ-то старческимъ, безсильнымъ гбѣтъ отъ этихъ сатиръ, юморъ поэта принимаетъ какой-то водеvilный характеръ (особенно въ «Притчѣ о киселѣ»), его сатира мельчаетъ, размѣниваясь на балагурство, ни одного крика честнаго негодованія, ни одного сильнаго слова... Сопоcтавляя эти отрицательныя качества со слабостью третьяго стихотворенія — «Выборъ», имѣющаго чисто лирическій характеръ, невольно приходитъ въ голову мысль, что пѣсенка г. Некрасова спѣта, и дарованіе его выдохлось».

\* \* \*

\*\*) Г-нъ Соловьевъ, обсуждая сліяніе «Современника» съ «Отечественными Записками», въ статьѣ «Критика направленій» между прочимъ говоритъ:

«Если люди положительнаго направленія ничему особенному не могутъ въ настоящее время радоваться, то зато наши отрицатели должны отъ всей души благодарить судьбу за непосланные на нихъ мплости. Праздникъ на ихъ улицѣ. Исторія затянулась опять на-

Писаревъ упоминаетъ о Некрасовѣ (въ подобномъ-же смыслѣ) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ сочиненій (см. Часть II, стр. 203 и 221; часть VI, стр. 52.)

\*) «Всемирный Трудъ» 1868 г., № 2 (ст. «Столичная жизнь»).

\*\*) «Всемирный трудъ» 1868 г. № 4.

долго. Еще такъ недавно не было ни для кого секретомъ, что журналы отрицательнаго направленія начали терять кредитъ, подписку, словомъ падать. Но имъ не дали умереть своей собственной смертью, и вотъ новый фениксъ опять возсталъ изъ своего пепла. Возставши для новой жизни, онъ впрочемъ не сразу выступилъ на поприще дѣятельности. Сперва посились въ обществѣ слухи о намѣреніи возстановить «Современникъ»; по потомъ сдѣлалось общезвѣстнымъ, что «Современникъ» въ настоящемъ, неподдѣльномъ своемъ видѣ, открыть быть не можетъ. За этимъ опять сдѣлалось тихо, и потомъ вдругъ раздалась вѣсть, что «Современникъ» соединяется съ «Отечественными Записками» и что давно насиженное мѣсто будетъ занято людьми, оставшимися безъ мѣста. Словомъ, сдѣлалось несомнѣннымъ, что червякъ направленія зашевелился опять и одна половинка его при-стала, присосалась къ г. Краевскому. Обстоятельство это считаемъ мы въ нѣкоторомъ родѣ событіемъ въ литературѣ. До сихъ поръ «Отечественныя Записки», несмотря на свою кажущуюся скромность и солидность, наносили по временамъ отрицателямъ самые сильные удары. «Время» и «Библіотека для Чтенія» еще мирвоили съ ними, а иногда даже вступали и въ нѣжности; «Отечественныя же Записки» всегда болѣе или менѣе выпускали противъ нихъ эхидныя статьи, отъ которыхъ «Современнику» и «Русскому Слову» оставалось только отмалчиваться. Даже когда «Голосъ» въ первые годы своего существованія не установился въ своихъ тенденціяхъ, «Отечественныя Записки» неизмѣнно старались противодѣйствовать отрицателямъ. Понятно теперь, что для ихъ партіи было въ высшей степени выгодно занять ту позицію, съ которой пущено въ нихъ столько вредныхъ снарядовъ. Самое возстановленіе «Современника», если бы оно осуществилось, не пошло бы имъ такъ въ прокъ, какъ проповѣдь идеи этого журнала съ каедръ умѣреннаго направленія.

«Современникъ» въ послѣдній годъ сталъ ужъ терять подписку; «Отечественныя же Записки», проѣхавшія столько десятилѣтій по рельсамъ русской литературы, не могли вдругъ остановиться. Новый возница, новый экипажъ и сѣдоки между тѣмъ могли возбудить любопытство публики, тѣмъ болѣе, что старые поклонники «Отечественныхъ Записокъ» не могли отъ нихъ отойти. Что въкусъ, стремленіе къ поглощенію «Отеч. Зап.», инициатива нападенія на этотъ постъ возникли въ головѣ отрицателей, что г. Краевскій тутъ игралъ не активную, а пассивную роль, въ этомъ и сомнѣнія не

можетъ быть для людей, понимающихъ дѣло, а не судящихъ только по объявленіямъ. Прогрессисты тутъ обошли консерваторовъ. На то, дескать, вы и консерваторы. Это все равно, что исторія съ нашими клубами, принявшими теперь такой модный оттѣпокъ. Ужъ съ какой бы стати съ клубомъ художниковъ сойтись людямъ, понимающимъ искусство à la Прудонъ и пишущимъ стихи à la маіоръ Бурбоновъ. Такъ нѣтъ же, засѣли и тамъ. Мы нарочно указываемъ на этотъ, въ сущности, ничтожный фактъ потому, чтобы показать, какою силой интриги, способностью являться во всевозможныхъ образахъ, поддѣлываться подъ всѣ положенія обладаютъ наши отрицатели.

Между тѣмъ какъ люди положительнаго направленія все еще спорятъ, на чемъ имъ сойтись: на народѣ или на дворянствѣ, на господствующемъ языкѣ или на господствующей церкви, для отрицателей всѣ подобныя вопросы, доводящіе иногда до самой неблагоприятной вражды, — не существуютъ. Они ихъ игнорируютъ. Ни демократизма, ни аристократизма для нихъ нѣтъ, а есть только одинъ семинаризмъ. Сибиримъ оговориться, что подъ словомъ этимъ мы разумѣемъ не что нибудь бранное, какъ это у насъ водилось до сихъ поръ, а просто особый слой или новую породу людей, прошедшихъ сквозь огонь и воду той ужасной школы, которую когда-либо создавала старая педагогія. Эти прошедшіе черезъ всѣ мытарства семинарскаго воспитанія въ свою очередь уже повліяли на другихъ силою и энергіей, или пріобрѣтенныхъ. И вотъ такимъ образомъ у насъ и образовался цѣлый классъ общества, который никакъ не хочетъ слиться съ другими. Въ этомъ-то и есть вся причина ихъ стремленія заключить себя въ комунны, ассоціаціи, отдѣльныя кружки, огородить себя отъ общества подъ видомъ молодого поколѣнія, молодой или юпой Россіи, реалистовъ, нигилистовъ... Даже и на женщинахъ нашихъ отразилась эта смѣсь семинарской грубости съ чистовоемъ храбростію — явились холостыя дѣвушки. Какихъ-нибудь задатковъ революціоннаго движенія, какъ воображали себѣ нѣкоторые трусливые люди, у нихъ нѣтъ и слѣда: опасность тутъ не для государства, а для общества, не для законовъ, а для принциповъ жизни. Не гражданинъ можетъ пострадать отъ наплыва всѣхъ этихъ теорій и словозверженій, а просто человекъ и семья. Въ юридическомъ и философскомъ отношеніяхъ они перфѣко были и правы, но въ отношеніи къ жизни они самые великіе грѣшники на Русѣ.



Со стороны той половины «Современника», которая теперь завладѣла «Отечественными Записками», была впрочемъ большая смѣлость выступить въ одиночку. Ученіе о новой породѣ людей, о новыхъ воззрѣніяхъ на искусство и науку не только не дало имъ ни одного поэта и ни одного ученаго, но даже отняло у нихъ и тѣ немногіе дары, которыми ихъ Богъ наградила. Нельзя поэтому было написать болѣе обманчивой рекламы, какъ ту, съ которой выступили повныя «Отечественныя Записки»: почти во всѣхъ именахъ, заманчиво выставленныхъ въ объявленіи, пришлось читателямъ разочароваться. Г. Некрасовъ, тотъ самый Некрасовъ, который волновалъ когда-то наши юношескія головы, является теперь какимъ-то литературнымъ покойникомъ и шипитъ себѣ журнальную эпитафію раздѣромъ стиховъ, изобрѣтенныхъ Искрою:

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!  
Какъ много думъ наводитъ онъ!

Печально затягиваетъ поэтъ Некрасовъ извѣстный романсъ и затѣмъ вдругъ, переходя въ хихиканье, восклицаетъ:

А звонъ злобный, роковой  
Межъ тѣмъ намигъ не умолкалъ.  
Пока я брюки надѣвалъ.

Какіе брюки!? Что вы, г. Некрасовъ? Съ какой стати вы говорите о брюкахъ? Вѣдь это и въ «Искрѣ», пожалуй, такую поэзію забраковали бы. Положимъ, тамъ тоже любятъ пародировать поэтовъ, да только не такихъ старыхъ, какъ Козловъ и не такихъ почтенныхъ, какъ Лермонтовъ. А притчу-то вы кому говорите? — Киселю? Сначала мы подумали, что это не знаменитымъ ли овсянымъ киселемъ хочетъ угостить г. Некрасовъ публику; ничуть не бывало. Это просто какой-то человѣкъ, да еще, какъ видно, его знакомый. Кисель, брюки — вотъ они, цвѣты-то поэзіи!

Мысль эту изложивъ круглѣе.  
Передастъ секретарю:  
Дабы переписалъ крупнѣе  
Для поднесенія визирю.

Учитесь, молодые поэты, всѣ вы, маіоры Бурбоновы, Пальмины и проч.! Передъ вами живой примѣръ человѣка съ именемъ, ломающаго русскій стихъ, какъ ломаются только палки.

Вслѣдъ за поэтомъ Некрасовымъ на катафалкѣ литературныхъ покойниковъ вынесенъ «Отечественными Записками» юмористъ Щедринъ. Что это былъ тоже человѣкъ съ именемъ и извѣстностью въ литературѣ — и сомнѣнія не можетъ быть. Какъ г. Некрасовъ создалъ у насъ гражданскую поэзію и заставлялъ когда-то проинкнуться многихъ гражданскою скорбью, такъ и г. Щедринъ произвелъ у насъ гражданскую сатиру. Можно даже сказать, что г. Некрасовъ ровно настолько заставлялъ наше поколѣніе плакать гражданскими слезами, насколько г. Щедринъ заставлялъ смѣяться его гражданскимъ смѣхомъ. Въ свое время такая противоположность въ настроеніи ихъ лиръ была умѣтна: сѣтованія казались естественны, смѣхъ заразителенъ. Теперь совсѣмъ другое — лиры ихъ звучатъ совершенно одинаково и ни на кого не дѣйствуютъ. Можно подуматъ, что имъ и самимъ-то въ душѣ не очень-то смѣшно; обстоятельства такъ перемѣнились, а между тѣмъ они ужъ привыкли смѣяться на старыя темы. Особенно это можно сказать о г. Щедринѣ, который такъ смѣшилъ насъ въ былые годы, пошедшіе на осмѣяніе земской полиціи, и который нагоняетъ теперь такую зѣвоту, говори о земствѣ. Смѣшныя заглавія онъ еще можетъ придуматъ, но въ самомъ текстѣ не попадаетъ уже ни одной строки вселой; такъ что члены земства напрасно на него и вознегодовали. Стрѣлы его остроумія могли попадать въ чиновниковъ, исправниковъ, засѣдательей, губернаторовъ, но не въ то, что народилось въ послѣдніе годы.

\* \* \*

\*) Мыслящему педагогу современная наша жизнь представляетъ не мало многозначительныхъ явленій, изъ которыхъ нѣкоторыя яркимъ свѣтомъ освѣщаютъ многія фазы духовнаго развитія общества. И кто же бросаетъ этотъ яркій свѣтъ на совершающуюся предъ нами жизнь? Кто учитъ, или вѣрнѣе сказать, научаеъ насъ, взрослыхъ людей, тому, до чего мы долго не додумались бы? Дѣти — наши учителя. Часто смотришь на ребенка внимательнымъ глазомъ, часто прислушиваешься къ его разговору, слѣдишь за его играми, занятіями, повѣряешь его склонности и говоришь съ утѣшеніемъ самому себѣ: ты додѣлаешь то, чего не могли додѣлать

\*) Н. А.—. С.-Петербургскія Вѣдомости 1863 г. № 113.

твои отцы! Ты своею дѣятельностію внесешь въ жизнь уже не вопросы, выпавшіе на долю отцовъ, а дѣло, фактъ! Все, все малѣйшее движеніе въ тебѣ, дорогое дитя, говоритъ мнѣ, зрителю, что ты будешь новымъ человѣкомъ. Не привыкшій вдумываться въ явленія совершающейся жизни отецъ, воспитатель никакихъ задатковъ для новаго будущаго не замѣтитъ въ тебѣ — ни въ твоихъ играхъ, ни въ твоихъ занятіяхъ. Много, много, что онъ замѣтитъ съ величайшимъ удивленіемъ странное для него явленіе: ребенокъ съ большимъ удовольствіемъ занимается геометріей, чѣмъ чтеніемъ стиховъ. Безъ сомнѣнія, его собственный ребенокъ любить стихи и, уже, разумѣется, не предпочтетъ стихамъ геометрію; нѣтъ, тотъ или другой отецъ, воспитатель замѣчаютъ упомянутое странное явленіе на чужомъ ребенкѣ. И ничего особеннаго не скажетъ имъ подобное явленіе, не въ силахъ они додуматься до того, что насколько въ подобномъ явленіи участвуютъ вліяніе отца, воспитателя, настолько же и вліяніе новой жизни, новыхъ жизненныхъ началъ, не для всякаго уловимыхъ, но которыя уже нарождаются, какъ невидимо для нашего глаза и уха нарождаются различныя атмосферическія явленія, рано или поздно должныя совершить свое дѣло. Дѣйствительно, г. Некрасовъ, есть дѣти, родились они, которыя даже ваши стихи, гладкіе, звучные, не предпочтутъ геометрію или какому бы то ни было другому предмету. Когда вашъ «Генералъ Топтыгинъ» былъ полученъ, и когда мы предложили ребенку прочесть его, онъ отвѣчалъ: я послѣ прочитаю, а теперь кончу планъ квартиры. Ребенокъ (11-лѣтняя дѣвочка) наносилъ въ это время квартиру на планъ. Черезъ два дня только дѣвочка вспомнила о стихахъ, да и то по нашему напоминанію, и прочитала ихъ. «Послушай дядя, сказала дѣвочка, обращааясь къ намъ: какіе пустыни написаны въ Генералѣ Топтыгинѣ!» — Какіе же пустыни, моя милая? Да то, что ящики и возаки ушли въ кабакъ, гдѣ они оставались очень долго; вотъ и Некрасовъ пишетъ, что они были въ кабакѣ очень долго; какимъ же образомъ лошади все это время могли стоять покойно, когда въ телѣгѣ сидѣлъ Мишка? Помнишь, въ деревнѣ проведутъ, бывало, медвѣдя, то лошадь, какъ только издалека увидитъ его, такъ и поѣжитъ со всѣхъ ногъ. Лошадь слышитъ даже медвѣжій духъ. Мишку посадить въ телѣгу не легко, чтобы лошади не замѣтили этого. Онѣ должны были непременно понести

еще въ то время, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Телѣга безъ клади, тройка почтовыхъ лошадей, да вѣдь онѣ разнесли бы всю телѣгу, а тутъ вдобавокъ ко всему написано, что лошади покойно стояли у кабака, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Это сказка. Тоже про коробейника Якова написано, что ему и лошади, на которой онъ ѣздилъ, было 100 лѣтъ. Лошадь живетъ до 25-ти лѣтъ; Если коробейнику Якову было 75 лѣтъ, то лошади было 25 лѣтъ, а такая лошадь погъ не волочить. Гдѣ уже ей бѣгать по дорогамъ съ тяжелымъ возомъ. Некрасовъ пишетъ, что у Якова возъ былъ тяжелый, нагруженный разнымъ товаромъ. Слѣдовательно, надобно предположить, что коробейнику было 80 лѣтъ, но тогда онъ самъ не могъ ѣздить по дорогамъ. Все это очень странно, дядя!» Я могъ сказать моей дѣвчкѣ только то, что люди, которые пишутъ стихи, называются поэтами; что этимъ поэтамъ позволяется иногда написать и рассказать, напримѣръ, происшествіе, котораго никакъ случиться не можетъ. Трудно мнѣ было объяснить одно: зачѣмъ рассказывать неправду и то, чего не можетъ случиться. Разумѣется, я прибавилъ, что найдутся и свѣтъ и 80-лѣтніе старини, способные работать и ѣздить по дорогамъ; но не рѣшился убѣждать дѣвочку въ томъ, что найдутся лошади, не боящіяся медвѣдя. Да и дѣвочка-то такая, что до той поры не повѣритъ, пока сама не увидитъ. Мы никогда не писали бы настоящей замѣтки, если бъ не прочитали въ *Отечественныхъ Запискахъ* о памѣреніи г. Некрасова издать книгу стихотвореній для дѣтей, т. е. не для большихъ дѣтей, а для маленькихъ. Пусть г. Некрасовъ приметъ къ свѣдѣнію, что въ числѣ будущихъ его читателей найдутся такіе, которые способны подвергнуть стихотворенія анализу, если только какимъ-нибудь образомъ стихотворенія попадутъ имъ въ руки, ибо, какъ мы сказали выше, дѣти съ здоровой головой особеннаго расположенія къ чтенію стиховъ не проявляютъ, ихъ не ищутъ и о полученіи книжки со стихами не хлопочутъ. Это тѣ дѣти, которыя отъ души смѣются надъ Вагнеромъ, рассказывающимъ, что березкѣ очень больно, когда ее срубають, что она плачетъ; что известнякъ, лишенный друга (углекислоты), чувствуетъ сильную потребность соединиться снова съ изгнаннымъ товарищемъ. Его дурное расположеніе духа, влѣдствіе отсутствія углекислоты, становится просто опаснымъ. (См. книгу Вагнера: «Изъ природы». Разказы для

дѣтей»). Что же касается до педагогическаго значенія вообще всѣхъ стихотвореній г. Некрасова, то рано или поздно, конечно, будетъ сказано объ этомъ честное и правдивое слово.

Напередъ знаемъ, что на нашу замѣтку послѣдуютъ обычные замѣчанія: воображеніе дѣтей требуетъ пищи, сухіе предметы — арифметика и геометрія — не могутъ дать ничего воображенію, слѣдовательно чтеніе стиховъ приносить дѣтямъ извѣстную долю пользы. Подобные, важные по своему содержанію, вопросы требуютъ не коротенькихъ отвѣтовъ, а обстоятельнаго и подробнаго изслѣдованія, чего въ короткой замѣткѣ сдѣлать нельзя. Но теперь можемъ сказать лишь то, что ничего и не говоримъ противъ необходимости питать воображеніе дѣтей, но утверждаемъ, что точныя науки должны составить исключительный предметъ ихъ занятій безъ малѣйшихъ промежутокъ; хотя не согласимся съ тѣмъ, чтобы геометрія, арифметика не могли дать пищи воображенію; задаемъ лишь вопросы: не найдется ли для пищи другихъ матеріаловъ, кромѣ стиховъ, и если этимъ матеріаломъ являются стихи, то какіе они должны быть и въ какой степени могутъ быть передаваемы дѣтямъ? Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ указать на этотъ другой матеріалъ, который есть и которымъ дѣльный педагогъ сумѣетъ воспользоваться. Безъ сомнѣнія, если уже давать дѣтямъ для чтенія стихи, то лучше тѣ, которые взяты изъ дѣйствительной жизни, чѣмъ неизвѣстно о чемъ говорящіе. Планъ такихъ стихотвореній, т. е. взятыхъ изъ дѣйствительной народной жизни, задуманъ г. Некрасовымъ, сколько можно судить по образцамъ, напечатаннымъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», вѣрно; но сочинять стихи надобно поосторожнѣе; во имя прелести избранной картинны, всегда соблазнительной для постовъ, не пренебрегать и истиной, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ увѣришь какого-нибудь милаго ребенка (милыя дѣти очень любятъ стихи), что лошадь такъ же покойно повезетъ въ телѣгѣ медвѣдя, какъ она везетъ покойно кошку или собаку. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ сбивать дѣтей съ толку! — Можетъ быть, вслѣдствіе этой замѣтки, г. Некрасовъ отнесется къ задуманной имъ книгѣ болѣе положительно и реально\*).

\*) Еще см. о Некрасовѣ въ 1868 г. — въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», № 345 (въ фельетонѣ) и «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», № 106.

Примѣч. В. Зеллинскаго.

1869 г.

\*) Некрасовъ исписался! Некрасова можно назвать литературнымъ покойникомъ! Вотъ тѣ возгласы, которые раздавались въ послѣднее время среди нашей періодической прессы. Справедливо ли это, и если справедливо, то въ какой степени, вотъ вопросъ, на который намъ надобно отвѣтить. Какъ извѣстно, приговоры нашихъ критиковъ и фельетонистовъ часто не отличаются строгою обдуманностью, по относительно Некрасова, въ ихъ крикахъ была нѣкоторая доза справедливости, такъ какъ послѣднее произведеніе его «Судъ» было очень слабо и по художественному выполненію и по идеѣ; по появившаяся на страницахъ «Отеч. Записокъ» сказка: «Кому на Руси жить хорошо», разомъ опрокидываетъ ихъ приговоръ. Въ этомъ новомъ произведеніи Некрасовъ является опять тѣмъ же знатокомъ народныхъ потребностей и тѣмъ же художникомъ въ дѣлѣ изобразительности, какимъ былъ нѣкогда. Упомянутая нами сказка состоитъ изъ двухъ частей. Первая не представляетъ ничего особеннаго и состоитъ въ томъ, какъ нѣсколько крестьянъ заспорили о томъ, кому на Руси жить хорошо, и въ чадѣ спора сбились съ дороги, по которой имъ надобно было идти домой. Вторая часть состоитъ въ описаніи ярмарки. Описаніе это знакомитъ читателя съ сельской ярмаркой и рисуетъ хмельныя картины, сопровождающія всякую ярмарку. Картины эти отличаются, конечно, отсутствіемъ изящества, но зато въ нихъ сквозитъ правда. Вотъ, примѣръ:

Средь самой, средь дороженьки  
Какой-то парень тихонькой  
Большую яму выкопалъ.  
— Что дѣлаешь ты тутъ?  
«А хорошо я матушку».  
— Дуракъ! какая матушка!  
Гляди поддевку новую  
Ты въ землю закопалъ!  
Иди скорѣй, да хрюкалемъ  
Въ канаву лягь, воды испей!  
Авось, соскочить дурь.  
«А ну давай потанемся!»  
Садятся два крестьянина,

Ногами упираются  
И жлятся и тужатся,  
Крехтять — на скалкѣ тянутся,  
Суставчики трещать.  
На скалкѣ не понравилось:  
«Давай теперь попробуемъ  
Тянуться бородой!»  
Когда порядкомъ бороды  
Другъ дружкѣ побавили, и т. д.

Какія пошлыя, циническія сцены, скажетъ благовоспитанный читатель. Что же дѣлать, отвѣтимъ мы, если другихъ въ нашемъ простонародьи мы не находимъ. Вотъ еще:

Въ канавѣ бабы ссорятся.  
Одна кричитъ: домой идти  
Тошнѣе, чѣмъ на каторгу!  
Другая: врешь, въ моемъ дому  
Похуже твоего!  
Мнѣ старшій зять ребро сломалъ,  
Середній зять клубокъ укралъ;  
Клубокъ — плевокъ, да дѣло въ томъ,  
Полтинникъ былъ замотанъ въ немъ.  
А младшій братъ все ножъ беретъ,  
Того гляди — убьетъ, убьетъ!

Вотъ въ краткихъ словахъ очерченъ семейный бытъ. Или, быть можетъ, поэтъ въ угоду читателямъ долженъ былъ нарисовать идиллическую картину семейнаго счастья, гдѣ живетъ старая тѣща съ тремя зятьями, которые ей во всемъ угождаютъ, наперерывъ одинъ передъ другимъ стараются выказать ей свое усердіе и заботы, — но въ такомъ случаѣ поэтъ пересталъ бы быть вѣрнымъ истинѣ, потому что свѣтлыя явленія въ простонародьи чрезвычайно рѣдки, а поэзія, по справедливому выраженію одного нашего писателя, заключается въ правдѣ жизни. Всѣмъ мыслящимъ людямъ, я думаю, уже извѣстно, что въ настоящее время, для того чтобы быть поэтомъ, недостаточно описывать, какъ роза цвѣтетъ, соловей поетъ, водопадъ шумитъ — или сочинять хвалебныя оды хорошему глазкамъ А., миленькой пожѣ Д. и т. д., потому что такія стихотворенія не могутъ приносить ничего, кромѣ пріятнаго усыпленія. Такимъ образомъ возникаетъ вопросъ: какимъ цѣлямъ должна служить поэзія? Научнымъ и прогрессивнымъ, отвѣтимъ мы. Идеаль науки и прогресса: *развитіе человечества въ интеллектуаль-*



номъ, моральномъ и матеріальномъ отношеніяхъ. Этотъ идеалъ долженъ руководить и поэта. Возвышеннѣй и благороднѣй этого идеала нѣтъ для поэта. Работая въ такомъ направленіи, онъ долженъ брать факты изъ окружающей насъ дѣйствительности и воспроизводить ихъ силою своего художественнаго таланта. Кромѣ того, поэту надо руководствоваться и идеей при выборѣ фактовъ, чтобы не обратиться изъ художника въ фотографа, и для избѣжанія такой метаморфозы брать только то, что соответствуетъ его цѣли, т. е. тѣ явленія, существованіе которыхъ пренятствуетъ достиженію идеала, или тѣ, воспроизведеніе которыхъ можетъ служить энергическимъ толчкомъ къ болѣе быстрому движенію общества, возбуждая и выводя его изъ апатіи. «Но вѣдь это значить заключить поэзію въ тѣсную раму служенія будничнымъ интересамъ и лишить ее независимости», скажутъ намъ. Советамъ нѣтъ; напротивъ того, мы желаемъ очистить ее отъ мелкихъ цѣлей и узкихъ интересовъ и обратить въ служеніе истинно-человѣческимъ стремленіямъ, слѣдовательно сдѣлать ее наиболѣе независимою, такъ какъ всякая идея свободы связана неразрывными узами съ законами справедливости и гуманности. Вотъ нашъ взглядъ на поэзію. Мы признаемъ міровое значеніе такихъ поэтовъ, какъ Шиллеръ, Гете, Гейне и др., но не можемъ придать такого же значенія ихъ подражателямъ, потому что то, что у первыхъ прекрасно и самобытно, то у послѣднихъ просто пошло. Что же касается насъ, русскихъ, то мы въ настоящее время не можемъ найти никого, заслуживающаго больше правъ называться поэтомъ, кромѣ Некрасова, поэтомъ въ томъ значеніи, въ которомъ мы понимаемъ это слово. Для болѣе яснаго подтвержденія только что сказаннаго нами слѣдовало бы разобрать по крайней мѣрѣ нѣсколько стихотвореній, но такъ какъ это будетъ несообразно съ объемомъ нашей статьи, то мы должны довольствоваться нѣкоторыми мѣстами вышеупомянутой сказки. Возьмемъ хотя то мѣсто, гдѣ одинъ странствующій господинъ началъ говорить мужикамъ о томъ, что они много пьютъ.

Крестьяне рѣчь ту слушали,  
Поддакивали барину,  
Павлуша (баринъ) что-то въ книжечку  
Хотѣлъ уже записывать,  
Но выпескался пьяненькой  
Мужикъ, — онъ противъ барина

На животъ лежалъ,  
Въ глаза ему поглядывалъ,  
Помалчивалъ, да вдругъ  
Какъ вскочить! Прямо къ барину—  
Хватъ карандашъ изъ рукъ!  
Постой, башка порожняя!  
Шальныхъ вѣстей безсовѣстныхъ  
Про насъ не разноси!  
Чему ты позавидовалъ,  
Что веселится бѣдная  
Крестьянская душа?  
Пьемъ много мы по времени,  
А больше мы работаемъ,  
У насъ на семью пьющую  
Непьющая семья!  
Не пьютъ, а такъ же маются —  
Ужъ лучше бъ пили, глупые,  
Да совѣтъ такова.

Сколько здравого смысла и жизненной правды заключается въ этихъ немногихъ словахъ и сколько снисходительности и сочувствія могутъ внести эти строки къ простому и незатѣйливому горю крестьянина, которое однако вслѣдствіе его невѣжества находитъ исходъ только въ пьянствѣ. Вопросъ о народномъ пьянствѣ и причинахъ его — одинъ изъ животрепещущихъ въ наше время. Существуютъ двѣ партіи, изъ которыхъ одна утверждаетъ, что пьянство есть главнѣйшая причина бѣдности простого народа, другая, напротивъ того, считаетъ пьянство однимъ изъ слѣдствій бѣдности и нужды, и никакъ не хочетъ признать, чтобы пьянство имѣло сильное вліяніе на богатство народа. Какъ то, такъ и другое мнѣніе, разсматриваемое въ отдѣльности, крайне односторонне, но несмотря на то, послѣднее имѣетъ больше шансовъ на справедливость, потому что

У насъ на семью пьющую  
Непьющая семья!  
Не пьютъ а такъ же маются—  
Ужъ лучше бъ пили, глупые.

Совершенно вѣрно. Кому случалось видѣть въ деревняхъ пьющія и непьющія семьи, тотъ знаетъ, что разница не велика, а слѣдовательно, пьянство вовсе еще не есть такой сильный источникъ бѣдности, какъ это воображаютъ многіе. Что же касается причины

пьянства, столь сильно распространеннаго въ народѣ, то ею можетъ быть не одна бѣдность, но также и невѣжество, хотя послѣднее въ гораздо слабѣйшей степени, чѣмъ первое.

«Нѣтъ мѣры хмелю русскому».

А горе наше мѣряли?

Работъ мѣра есть?

Вино валить крестьянина.

А горе не валить его?

Работа не валить?

На эти строки приходится говорить то, что мы уже только что говорили, т. е., что только близорукій можетъ ввести такое понятіе, что одно лишь пьянство есть источникъ всѣхъ золъ въ народѣ.

Даже немногихъ строкъ, выписанныхъ нами, достаточно для того, чтобы читатель могъ видѣть, какъ Некрасовъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи остался вѣренъ всегдашней своей идее: возбуждать сочувствіе высшихъ классовъ къ простому люду, его нуждамъ и потребностямъ. Многіе говорятъ, что стихотворенія его могли имѣть значеніе только при крѣпостномъ правѣ, но никакъ не теперь. когда положеніе крестьянъ значительно улучшено и имъ остается только трудиться, чтобы еще болѣе улучшать его. Совершенно вѣрно, положеніе крестьянъ въ настоящее время несравненно лучше, но еще далеко не такъ хорошо, какъ это полагаютъ нѣкоторые. И мы увѣрены, что само правительство, которому дорого народное благосостояніе, никакъ не остановится на настоящемъ положеніи дѣлъ, а будетъ продолжать свои неусыпные дѣйствія относительно улучшенія участи простого народа; но, какъ извѣстно, всякая реформа, производимая администраціей, часто встрѣчаетъ въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества и литературы тупое недовольство, если только она идетъ въ ущербъ казовымъ интересамъ, а потому такіе люди, какъ Некрасовъ, умѣющіе рисовать дѣйствительность во всемъ ея неприглядномъ цвѣтѣ, возбуждающіе интересъ и сочувствіе къ сермягѣ, намъ нужны, отчасти потому, что они способны уничтожить сословный антагонизмъ и приготовить общество къ воспріятію безропота благотѣльныхъ реформъ администраціи, которая въ своихъ распоряженіяхъ всегда далеко опережаетъ общественную мысль \*).

\*) Еще см. за этотъ годъ о Некрасовѣ въ «Портретной галлерей русскихъ дѣятелей», т. 2, кат. А. Минстера. Кроме того, 1869-й годъ богатъ литературой

## КРИТИКА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1870 г.

\*) Богаты мы или бѣдны лириками? Стоитъ только начать счетъ, васъ поразитъ обиліе именъ, повѣдавшихъ міру свои думы, чувства и помышленія; не говоря уже о такихъ именахъ, какъ Некрасовъ, вспомните, сколько еще лирическихъ разрядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ степенямъ. Миннаевъ, Курочкинъ, Плещеевъ, Вейнбергъ, Полопскій, Пальминъ, Вормъ и т. д. и т. д. А загляните въ недавнее прошлое? Мей, Кроль, В. Крестовскій, А. Майковъ, Тютчевъ, О. Бергъ, Фетъ... а сколько русскихъ людей еще кропаютъ стихи, воспѣвая сладчайшія чувства, стараясь метать

о Некрасовѣ полемико-біографическаго свойства. Вотъ она: «Матеріалы для характеристики современной русской литературы: I) Литературное объясненіе съ П. А. Некрасовымъ М. А. Антоновича и II) Post-scriptum... Ю. Г. Жуковскаго». — «Виржевыя Вѣдомости», № 153. — «Всемирный Трудъ», № 3. — «Вѣсть», № 248. — «Допъ», № 60. — «Дѣло», № 4, стр. 90—93. — «Заря», № 5, стр. 151—174, Н. Страхова. — «Одесскій Вѣстникъ», № 137 и 139 («Новое явленіе въ литературѣ»). — «Отечественныя Записки», № 4, отд. 2, стр. 273—283 и 336—368. — «Литературное наденіе гг. Антоновича и Жуковскаго», Н. Рождественскій, отдѣльн. изданіе, Спб. 1869 г. — «Космосъ», № 4 (М. Антоновича, «Неизвѣстному другу»); тамъ же № 8. — (Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому). Воспоминанія П. С. Тургенева: «Вѣстникъ Европы» № 4 (см. также соч. Тургенева, т. 1). — «Космосъ», 2-е полугодіе, приложеніе № 1, стр. 84—102 (о Воспоминаніяхъ Тургенева). — «С.-Петербургскія Вѣдомости», №№ 187 и 188 (Письма Бѣлинскаго къ В. П. Вяткинну). — «Космосъ», 2-е полугодіе, стр. 113—129 (по поводу письма Бѣлинскаго). — «С.-Петерб. Вѣдом.», № 211 (фельетонъ Незнакомца). — «Заря», № 7, стр. 169—173 и № 9, стр. 207—209 (Грановскій въ стихахъ Некрасова. См. тамъ же о письмѣ Некрасова къ Тургеневу, гдѣ онъ убѣждаетъ Тургенева отдать въ «Современникъ» романъ «Отцы и Дѣти».

\*) М. М. «Иллюстрированная Газета» 1870 г. № 12.

Примѣч. В. Зелинскаго.

громы или стремясь въ тѣ счастливыя страны, о которыхъ сами кронатели не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. «Стихи» такого рода вещь, что, по крайней мѣрѣ по убѣжденію кронателей, ихъ можно писать, не имѣя въ головѣ никакой опредѣленной мысли. Состряпаеть иногда такой кронатель три или четыре десятка строчекъ, и ужъ чего не придумаетъ. Тутъ у него и «мечты» о чемъ-то, тутъ не обходится безъ «пустоты», тутъ и вздохи, и слезы, и грезы, и грозы, — однимъ словомъ, чего хочешь, того просишь, только смысла не спрашивай. Между любителями «стиховъ» есть и такіе, которые только всего и ищутъ «мѣрнаго паденья рими» и «звучности» стиха, а до смысла, до опредѣленной мысли имъ нѣтъ дѣла. Мысль въ стихотвореніи, по ихъ мнѣнію, «мочальный хвостъ», и потому они предпочитаютъ стихотворенія «безхвостыя». Но увы! подобнаго рода вирши давно потеряли значеніе въ болѣе развитой части общества, котораго вниманіе привлекаютъ только Минаевъ, Некрасовъ и Курочкинъ. Всѣ они больше или меньше, — сатирики, всѣ владѣютъ мастерски стихомъ, который имъ дается легко и безъ труда. Некрасову все еще принадлежитъ первое мѣсто. Его сатира — глубже захватываетъ жизненные стороны, у него она шире, нежели у двухъ другихъ, названныхъ нами. Правда, его «поющее» настроеніе нѣсколько устарѣло, но внесенное въ сатиру, придаетъ ей разнообразіе и способно вынудить даже и простоватому читателю, что здѣсь дѣло въ серьезъ идетъ, а не смѣха ради. Напримѣръ:

Приунылъ и мужикъ. — Чѣмъ я буду топить?  
 Говоритъ онъ, лицо свое хмури:  
 «Ты не будешь топить — будешь пить»,  
 Завываетъ въ отвѣтъ ему бури.

Въ IV ч. стихотвореній въ первый разъ напечатаннаго — немного. Въ большинствѣ ея содержаніе составляютъ стихотворенія, напечатанныя въ «Современникѣ» 1865 г., 1866 г. и въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1868 г. Главное дополненіе составляютъ отрывки изъ «Медвѣжьей охоты», подъ заглавіями: «Пѣсня о трудѣ» и «Пѣсня любви»; первая изъ нихъ — простое указаніе на измѣнившіяся, въ послѣднее время, экономическія условія нашей жизни, или отрицаніе паразитства, а вторая — тоже указаніе на новыя стремленія русской женщины; впрочемъ, сущность этихъ стремленій гораздо опредѣлениѣ въ самой дѣйствительности, нежели у Некрасова. Вотъ,

напримѣръ, что поетъ у него Люба: «Мнѣ здѣсь скучно, потому что здѣсь жизнь тянется вяло. Но я выросла у моря, т. е. на просторѣ, а большому кораблю — большое и плаваніе. Жалѣть меня нечего; все равно — не спасти; не сегодня, завтра грянетъ буря и погубитъ меня, потому что кланяться и покоряться я не хочу и не умѣю... Отпусти меня, родная, на просторѣ широкій, все же я, прежде чѣмъ сломясь, хоть не долго буду счастлива. Я помню, какъ ты грудью разсѣкала волны, была бодра, смѣла, хоть и не долго, хоть и не съ побѣдной пѣснью пристала къ берегу, но знала, что такое счастье. Я тоже хочу счастья, должна его искать... Отпусти меня!» Слова пѣтъ — стремленія, требованія новыя, если бы только не одна несчастная черта: дѣвушка проситъ позволенія у мамы выйти на новый путь. Но эта бѣда небольшая; мамаша, безъ сомнѣній, дозволитъ, понимая, что у нея просить позволенія только для формы. Слѣдовательно, упрекнуть Некрасова можно за форму, въ которую онъ одѣлъ новое женское требованіе. Но неопредѣленности самаго требованія — оправдать нельзя, потому что въ жизни оно заявило себя очень опредѣленно и безъ фразъ, такъ что поэтъ нѣсколько опоздалъ со своею пѣснью. Едва ли кто теперь станетъ ее пѣть.

Наше соображеніе подтверждается еще и стихотвореніемъ, посвященнымъ «неизвѣстному другу», особенно слѣдующими строками:

... И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла  
И до парода не дошла она,  
Одна любовь сказаться въ ней успѣла  
Къ тебѣ, моя родная сторона.  
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,  
Ее умѣлъ въ душѣ моей спасти,  
За каплю крови, общую съ народомъ,  
Мои вины, о родина, прости!

Сравните двѣ послѣднія выписки. Не та ли же самая въ нихъ пѣснь искупленія. Само собою, что побудительная причина, вызвавшая подобную пѣснь, никогда и никѣмъ гласно не высказывалась. Но гласное опроверженіе клеветы было необходимо въ интересахъ читающихъ людей, которые знали о существованіи нѣкоторыхъ, невыгодныхъ для поэта слуховъ. Теперь есть возможность взглянуть на дѣло безпристрастно и припомнить, что года полтора тому назадъ приходилось волей-неволей издавать фальшивые звуки для не

издавать вовсе никакихъ: это было время, удобное для всякой клеветы и инсинуаціи.

Въ «Приложеніи» къ IV ч. стихотвореній помѣщены: поэма «Папаша», въ первый разъ напечатанная въ «Современникѣ» 1860 г. и еще нѣсколько небольшихъ стихотвореній.

\* \* \*

\*) Во второмъ номерѣ «Отечественныхъ Записокъ» помѣщено продолженіе поэмы Н. А. Некрасова, «Кому на Руси жить хорошо?» Поэма эта нѣсколько растянута, въ ней вы встрѣчаете многія сцены, совершенно излишнія, мѣшающія общему впечатлѣнію, напрасно утомляющія читателя и тѣмъ немало вредящія цѣльности впечатлѣнія. Но при всемъ томъ поэма Некрасова имѣетъ неотъемлемыя достоинства; въ ней столько чувства, столько глубокаго пониманія жизни, что какъ-то невольно забываются, изглаживаются всѣ мелкіе недостатки. Многія сцены этой поэмы прочувствованы и выражены такъ ярко и сильно, что невольно пробѣгаешь ихъ по нѣскольку разъ, и чѣмъ больше вчитываешься въ нихъ, тѣмъ прекраснѣе онѣ кажутся.

\* \* \*

\*\*\*) Мы уже не разъ высказывали убѣжденіе, что русская литература, хотя о ней всѣ толкуютъ взапуски, хотя каждый считаетъ себя въ правѣ судить и ридить о ней, есть предметъ въ высшей степени темный и трудный. Но всего труднѣе и темнѣе въ русской литературѣ — ея поэзія, всего загадочнѣе тѣ писатели, которые принадлежатъ къ чистѣйшей и спеціальнѣйшей поэтической области, т. е. лирики-стихотворцы. Каждый разъ, когда мы хотѣли взяться за нашихъ поэтовъ, чтобы разбирать ихъ, насъ останавливала чрезвычайная запутанность и странность этихъ явленій, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложимъ дѣло со всею откровенностію. Сравнительно легко писать о такихъ крупныхъ и ясныхъ явленіяхъ, какъ Герценъ, гдѣ можно коснуться, по мѣрѣ силъ, важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ общаго вниманія и долгихъ толковъ. Еще легче писать статьи о «женскомъ вопросѣ» и о томъ, что чело-

\*) Л. Л. «Новое Время» 1870 г. № 109.

\*\*) Н. Страховъ. «Заря» 1870 г. № 9.



вѣкъ имѣть душу. Твердить общія истины, писать трактаты въ опроверженіе дикихъ мнѣній или въ защиту ясныхъ какъ день положеній, — дѣло, которое легче многихъ другихъ. И если бы насъ соблазняли лавры Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались бы этого рода литературнымъ упражненіямъ, которыя притомъ для многихъ, вѣроятно, весьма не бесполезны. Но намъ все *совѣстно* касаться общихъ и избитыхъ темъ, и мы сами добровольно запираемъ себѣ путь къ славѣ. Мы принимаемся за эти легкіе предметы не иначе, какъ съ большими предосторожностями, чтобы, поучая неразумныхъ читателей, не наскучить какъ-нибудь разумнымъ. Мы въ этомъ случаѣ держимся той мысли, которою заключается одно стихотвореніе г. Некрасова; вмѣстѣ съ поэтомъ мы часто говоримъ себѣ:

И погромче насъ были витіи,  
Да не сдѣлали пользы перомъ...  
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,  
А на умныхъ тоску наведемъ.

Итакъ, есть не мало предметовъ, о которыхъ писать было бы легко, такъ какъ для этихъ предметовъ есть и публика, то есть существуютъ извѣстные интересы и вопросы въ массѣ читателей, есть и ясны основанія, то есть существуютъ очень простыя и широкія точки опоры, на которыхъ мы можемъ установить свои сужденія. Но какъ писать о поэзіи? Гдѣ наша публика, читающая поэтовъ? Гдѣ взять мѣрки для сужденія о нашихъ лирикахъ?

Если мы вспомнимъ, что въ нынѣшнемъ году окончено новое, весьма полное изданіе сочиненій Полонскаго, въ прошломъ году вышло пятое изданіе стиховъ Некрасова, въ позапрошломъ вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворенія Хомякова и Тютчева, что до сихъ поръ пишутъ Майковъ, Алексѣй Толстой, Алмазовъ и другіе, то окажется, что мы вовсе не бѣдны лирическою поэзію и что есть же для нея читатели, требующіе новыхъ изданій своихъ любимыхъ поэтовъ. Г. Некрасовъ, конечно, первенствуетъ въ этомъ случаѣ, онъ вышелъ уже пятымъ изданіемъ. Но какъ ни старались журналы, руководимые г. Некрасовымъ, отбить у читателей охоту отъ всякой поэзіи, кромѣ той, которою занимается г. Некрасовъ, они очевидно въ этомъ не успѣли. Напримѣръ, успѣхъ Тютчева, поэта очень глубокомысленнаго, очень

высокаго по строю своей лиры, ясно показываетъ, что у насъ есть еще значительная публика для самыхъ высокихъ родовъ поэзіи. Мы были очень изумлены, прочитавши въ прошломъ году въ «Отечественныхъ Запискахъ» такое извѣстіе: «Г. Полонскій очень мало извѣстенъ публикѣ» (см. «Отеч. Зап.» 1869 г. сентябрь, стр. 47). Какъ? Полонскій, знаменитый Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Въдѣ поворачивается же у людей языкъ на подобныя выходы! Я думаю, наборщикъ, набравшій эту страницу, и корректоръ, правившій ее въ типографіи г. Краевского, смѣялись надъ непомернымъ безстыдствомъ этой лжи. Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Подобныя вещи можно писать только для гимназистовъ перваго класса, только въ явномъ расчетѣ на такую публику, которая понятія не имѣетъ о русской литературѣ и станетъ учиться ей по рецензіямъ «Отеч. Записокъ», станетъ на этомъ журналѣ развивать свой умъ и воспитывать свои сердечныя чувства.

Такая публика, конечно, есть, и объ ней, конечно, очень хлопочутъ такіе журналы, какъ «Отеч. Записки». Они никогда не прочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали бы увѣрить ее, что не стоитъ и обращать вниманія на всю остальную литературу. Всегда есть мальчики, только что принимающіеся за чтеніе книгъ, всегда есть множество и зрѣлыхъ людей, которые, какъ выразился Гоголь, нѣсколько беззаботны насчетъ литературы. Для нихъ можно смѣло печатать, что Полонскій есть писатель очень мало извѣстный, а что о Тютчевѣ никто даже никогда не слыхалъ. Но есть другая публика — вотъ къ чему мы клонимъ свою рѣчь. Есть же въ немаломъ числѣ такіе удивительные люди, которые любятъ поэзію и не считаютъ знакомство съ русскою литературою за дѣло лишнее и бесполезное. Такіе люди всё до единого знаютъ и любятъ Полонскаго, котораго, впрочемъ, мудрено не знать и тѣмъ, которые его не любятъ. Полонскій пишетъ около тридцати лѣтъ (знаменитыя стихотворенія «Солнце и мѣсяцъ», «Пришли и стали тѣни ночи» написаны — первое въ 1841, второе въ 1842 году); въ теченіе этого времени онъ написалъ не мало произведеній *первостепенныхъ*, то-есть представляющихъ несомнѣнное, чистое золото поэзіи («Вѣда проповѣдникъ», «У Аспазіи», «Статуя», «Кузнечикъ Музыкаль», «Няиды», и проч.); въ силу этого онъ сталъ однимъ изъ образцовыхъ *классическихъ* нашихъ поэтовъ, то-есть такимъ, который всегда съ почетомъ по-

минается при перечисленіи сокровищъ нашей литературы и безъ произведенія котораго не обходится ни одна хрестоматія. Притомъ г. Полонскій пишетъ до сихъ поръ и пишетъ такъ, что ничто не обличаетъ ослабленія его таланта. Мы можемъ ждать отъ него такихъ же великолѣпныхъ произведеній, какими онъ отъ времени до времени дарилъ насъ и прежде. Въ доказательство укажемъ на «Царя Симеона», напечатаннаго въ майской книжкѣ «Зари». Вотъ положеніе г. Полонскаго въ литературѣ. Онъ такой *известный* писатель, что извѣстнѣе и быть невозможно при маломъ количествѣ, при малой нашей любви къ родной литературѣ. Но — *что такое* Полонскій? Въ чемъ смыслъ его поэзіи? Какія ея отличительныя черты? На эти вопросы дѣйствительно не существуетъ отвѣта. Мальчики въ школахъ учатъ наизусть его стихи: всѣ знаютъ, други и недруги, что онъ отличный поэтъ; но *что такое* его поэзія — такъ же мало извѣстно, какъ мало извѣстно значеніе Пушкина, какъ мало ясенъ и понятенъ ходъ всего развитія нашей литературы. И въ этомъ отношеніи получаетъ нѣкоторый смыслъ дерзкая выходка «Отечественныхъ Записокъ», рѣшившихся провозгласить, что Полонскій очень мало извѣстенъ читателямъ. Подъ маскою, доходящею до такой наивности, скрывается слѣдующая мысль: г. Полонскій есть явленіе неясное, непонятное; никто не знаетъ, что оно такое, и такимъ образомъ публика намъ повѣритъ, если мы скажемъ, что онъ не имѣетъ никакого значенія въ литературѣ, что онъ не имѣетъ даже извѣстности, такъ какъ печаль было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такіе, напримѣръ, какіе пишутъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», не любятъ никакихъ неясныхъ, непонятныхъ явленій. Для умника всякое явленіе этого рода — обидка, такъ какъ оно ясно свидѣтельствуетъ о несостоятельности его ума, о мелкости его понятій. Въ такихъ случаяхъ умные люди прибѣгаютъ перѣдко къ очень глупому средству: для спасенія чести своего ума въ своихъ и чужихъ глазахъ, они *отрицаютъ* непонятное явленіе, стараются отнять у него всякое значеніе. Вотъ причина, по которой въ наши дни такъ ожесточенно напали на Пушкина; для умниковъ нашъ великій поэтъ — бѣльмо на глазу, камень преткновенія. Вотъ главная существенная причина и нападеній на Полонскаго, поэта, который, повидному, ничѣмъ не могъ раздражить ни одной изъ литературныхъ партій. Онъ раздражаетъ умничающихъ самымъ

своимъ существованіемъ, самою своею извѣстностію, и вотъ они утверждаютъ, что онъ вовсе не извѣстенъ, что его имя отнюдь не числится въ числѣ именъ русскихъ поэтовъ, что настоящіе наши *известные* поэты, это — г. Некрасовъ, г. Минаевъ и г. Курочкинъ. Для поясненія и сравненія обратимся къ г. Некрасову. Г. Некрасовъ дѣйствительно находится въ другомъ положеніи, чѣмъ г. Полонскій; о г. Некрасовѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, что онъ поэтъ *неизвѣстный*. Почему же? Не потому, что онъ выдержалъ пять изданій, тогда какъ Полонскій выдержалъ только два; обиліе читающихъ можетъ быть только *вынуждено* успѣхомъ, только доказывать, что книга угодила *толпѣ*, пришла по вкусу людямъ грубымъ и посредственнымъ, составляющимъ большинство всякой публики. Некрасова нельзя называть неизвѣстнымъ потому главнымъ образомъ, что онъ будто бы поэтъ совершенно опредѣленный, что онъ явленіе вполне ясное и понятное.

Г. Некрасовъ есть первообразъ нашихъ обличительныхъ поэтовъ, — конхъ было и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности Невскаго проспекта, а главное — страданія простого народа во всѣхъ ихъ многообразныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подъ мышки передникъ,  
Перетянетъ уродливо грудь,

и до мужика, у котораго

Губы безкровныя, вѣки упавшія,  
Язвы на тощихъ рукахъ,  
Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявшія  
Ноги опухли, колтуны въ волосахъ.

Въ силу этого г. Некрасовъ самъ о себѣ говоритъ слѣдующимъ образомъ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,  
Терпѣемъ изумляющій народъ!  
И бросить хотъ единый лучъ сознанья  
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Въ силу всего этого не только теперь, когда существуетъ пять изданій стиховъ г. Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ существовало только два, уже нельзя было сказать, что

г. Некрасовъ поэтъ мало извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое; въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, которые слышалъ Пушкинъ:

О чемъ бренчить? Чему насъ учить?  
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучить?  
Какъ своенравный чародѣй?

Этихъ вопросовъ нельзя было предлагать г. Некрасову, такъ какъ *направленіе* его музы было совершенно ясно.

Вотъ мы и договорились до нѣкоторой точки зрѣнія, съ которой можно, повидимому, судить нашихъ поэтовъ, съ которой довольно ясно и прямо можно было бы произвести имъ оцѣнку. Стоитъ только задать вопросъ: какого направленія поэтъ? и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны ли мы съ этимъ направлениемъ или нѣтъ. Написать можно очень много и даже очень занимательно, потому что можно было бы вложить въ статью весь задоръ и всѣ тѣ мысли, какія возбуждены и выяснены долгою и упорною борьбою.

Особенно соблазнительно — написать такую *критику* на г. Некрасова. Статью можно было бы сдѣлать прейдовитую, притомъ такую, которая была бы и бесполезна и справедлива. Можно было бы съ избыткомъ отплатить г. Некрасову за всѣ обиды, которыя въ теченіе долгихъ лѣтъ были наносимы другимъ поэтамъ въ журналахъ, стоявшихъ и стоящихъ подъ его начальствомъ. Можно было бы перебрать по пальцамъ и выставить на видъ всѣ тѣ пошлости и фальшивыя ноты, безъ которыхъ не обходится почти ни одна страница его стиховъ. Г. Некрасовъ есть поэтъ чисто петербургскій; онъ носитъ на себѣ всѣ характерныя черты нашей Сѣверной Пальмпы, онъ ея духовное дѣтище. Это поэтъ Александринскаго театра, Невскаго проспекта, петербургскихъ чиновниковъ и петербургскихъ журналистовъ. Стихи его по тону и манерѣ очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особаго рода, который нѣкогда процвѣталъ въ нашей александринкѣ. Петербургская погода, картины и сцены петербургскихъ улицъ отразились въ стихахъ г. Некрасова, какъ предметы сильно и постоянно волновавшіе его музу. Что касается до народа, то поэтъ, конечно, глубоко сожалѣетъ о немъ, но сожалѣетъ именно такъ, какъ это свойственно петербургскимъ просвѣщеннымъ чиновникамъ и либераль-

нымъ писателямъ. Народъ для него — страдающая масса, которую не только слѣдуетъ облегчить отъ несомыхъ ею тягостей, но еще болѣе слѣдуетъ просвѣтить, освободить отъ ея дикихъ понятій, облагородить, очистить, преобразовать. Г. Некрасовъ никогда не можетъ воздержаться отъ этой роли просвѣщеннаго, тонко развитого петербургскаго чиновника и журналиста, и такъ или иначе, но всегда выкажетъ свое превосходство надъ темнымъ людомъ, которому сочувствуетъ. Цѣлый рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и дикости русскаго народа. Какъ изящное чувство г. Некрасова оскорбляется *передникомъ, завязаннымъ подъ мышки*, такъ его гуманныя и просвѣщенныя идеи постоянно въ разладѣ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, съ грубой душой и рѣчью простыхъ людей. Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія будто бы глубоко *народныя* темы:

Милаго побой не долго болять (*Катерина*, Ч. IV).

или:

Намъ съ лица не воду пить,

И съ коравой можно жить и т. д.

(*Сватъ и жсннхъ*, Ч. IV).

Онъ всегда не прочь грустно посмѣяться или тоскливо погрузиться надъ народомъ.

И вотъ истинная причина успѣха г. Некрасова; онъ какъ разъ пришелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностію, весьма жалѣетъ мужика, но въ то же время чуждается народнаго духа. Почитатели г. Некрасова, твердя его стихи, могутъ вполнѣ сохранять свой презрительный взглядъ на народъ, могутъ по прежнему не имѣть ничего общаго съ народомъ и самая любовь къ нему у нихъ является не какъ простой долгъ, не какъ благоговѣйное подчиненіе его духу, а какъ заслуга ихъ гуманныхъ понятій, какъ просвѣщенное сожалѣніе о дикихъ и грубыхъ людяхъ. Таково настроеніе г. Некрасова; онъ думалъ, какъ мы видѣли, что небеса его призвали бросить нѣкоторый *лучъ сознанія* на путь, которымъ Богъ ведетъ русскій народъ. Всѣ эти обличители суть вмѣстѣ и просвѣтители: они не хотятъ учиться у народа, а сами хотятъ его учить. Дѣйствительно, мы не видимъ, чтобы народныя понятія и идеалы составляли предметъ мыслей и нѣспонѣній г. Некрасова: толкуя безпрестанно о народѣ, онъ ни разу не воспѣлъ памъ того, чѣмъ собственно *живетъ* народъ, — ни едишаго чувства, ни еди-

ной думы, въ которыхъ бы отразилось внутреннее развитіе народа, сказала бы его великая духовная сила. Нѣтъ ни единого событія во всей русской исторіи, которое внушило бы что-нибудь г. Некрасову, котораго смыслъ отразился бы въ его стихахъ хотя слабымъ отраженіемъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой  
Не запало ни одно  
Жизни чистой, человѣческой  
Плодотворное зерно.

Вотъ настоящій взглядъ г. Некрасова на Россію и русскій народъ; при такомъ взглядѣ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросать лучи сознанія на пути провидѣнія, выразившіеся въ нашей исторіи.

Итакъ приговоръ *направленской* критики относительно г. Некрасова могъ бы быть очень строгъ; этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель направленія, которое давно ославило себя крайностями и нелѣпостями, которое составляетъ истинную *болѣзнь* русскаго общества; г. Некрасовъ есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этою болѣзнію.

\* \* \*

Вступая за Полоцкаго по поводу критики произведеній послѣдняго, помѣщенной въ сентябрьской книжкѣ за 1869 г., Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

\*) «Что же касается до критика «Отечественныхъ Записокъ», то ограничусь тѣмъ, что выражу одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посямется. / Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, въ ~~его~~ <sup>самыхъ</sup> глазахъ, ~~патронъ~~ <sup>наставникъ</sup> его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полоцкаго, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ еще перечитывать лучшія стихотворенія Полоцкаго, когда самое имя г. Некрасова покроеся забвеніемъ. Почему же это? А потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бѣлыхъ ниткахъ, всякими принарядами приправленныхъ, мучительно выпяченныхъ измысленійхъ «скорбной» музыки г. Некрасова — ея-то, поэзіи-то и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ всѣмъ

1 «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1870 г. № 8.

уважаемого и почтенного А. С. Хомякова, съ которымъ, спѣшу прибавить, г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго.

\* \* \*

\*) Отъ колоссальныхъ политическихъ интересовъ мнѣ еще предстоитъ перейти къ маленькимъ интересамъ литературнымъ и указать въ сентябрьской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» на весьма выдающееся стихотвореніе г. Некрасова — «Дѣдушка». Образъ «дѣдушки» въ стихотвореніи задуманъ очень удачно и крайне симпатиченъ въ своей простотѣ. Разумѣется, пьеса, какъ это почти всегда бываетъ у г. Некрасова, вылилась не вполне и отчасти фальшива въ художественномъ отношеніи. Какъ на такую фальшивъ, можно указать, напримѣръ, на слѣдующее: въ пьесѣ возвращенный изъ Сибиря декабристъ бесѣдуетъ со своимъ маленькимъ внукомъ, который съ дѣтскимъ любопытствомъ заинтересованъ таинственною прошлою судьбой дѣда. Скрывая отъ ребенка эту судьбу, на томъ основаніи, что ему еще рано узнавать о «великой были», что эта быль еще недоступна для дѣтскаго пониманія, дѣдушка, однако, не стѣсняется повѣствовать младенцу о томъ, какъ въ старые годы помѣщики пользовались своими крѣпостными, разстроивая крестьянскія свадьбы и отбирая въ дѣвичью поправившихся имъ особъ прекраснаго пола, говорить о стопѣ рабовъ, свистѣ бичей и т. п. Я знаю, что мнѣ могутъ возразить: такъ нельзя судить о художественномъ произведеніи; бесѣда дѣда съ внукомъ только художественный приемъ, и подобное *формальное* его толкованіе не можетъ имѣть мѣста. Отчего, однако жъ? Я допускаю какіе угодно «художественные приемы», но только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ ихъ внѣшняя форма не стояла въ явно фальшивомъ противорѣчій съ естественностью.

За всѣмъ тѣмъ, указавъ на недостатокъ пьесы г. Некрасова, все-таки слѣдуетъ признать ее во многихъ отношеніяхъ вполне прекрасною. Теплота чувства, простота и выразительность стиха порою такъ хороши, что напоминаютъ лучшія строфы поэта. Появивсь «Дѣдушка» раньше, напримѣръ, въ концѣ пятидесятихъ годовъ, когда само названіе декабристъ считалось чѣмъ-то запрещеннымъ, это стихотвореніе произвело бы огромный эффектъ и было бы, ко-

\*) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1870 г. № 277. (Ст. Z.).



нечно, поставлено въ число перловъ поэзіи г. Некрасова. Теперь, послѣ того, какъ наши спеціальныя изданія историческихъ документовъ дали уже нѣсколько мемуаровъ дѣятелей 14-го декабря, послѣ того, какъ въ «Русскомъ Архивѣ» даже начинаютъ обнаруживаться нѣкоторыя пререканія между этими дѣятелями (смотри замѣчанія г. Свистунова въ 8 и 9 выпуск.) — теперь, разумѣется, стихотвореніе утрачиваетъ большую долю впечатлѣнія. Его замѣтить и оцѣнить не масса публики, а лишь нѣсколько любителей поэзіи, которые, конечно, съ удовольствіемъ признаютъ, что талантъ г. Некрасова не угасаетъ, и муза его, хотя нѣсколько поздно, находитъ прекрасные поэтические мотивы и теплое чувство для ихъ выраженія.

\* \* \*

\*) Вѣлискій, прочитавши первые опыты стиховъ г. Некрасова, со свойственной ему истинной прощпцательностію высказалъ объ нихъ такое мнѣніе: «Они проникнуты мыслию; это не стихи къ дѣвѣ и луиѣ; въ нихъ много умнаго, *дѣльнаго* и современнаго». Это мнѣніе Вѣлискій высказалъ въ сорокъ шестомъ году, т. е. почти четверть столѣтія назадъ, когда всѣ глубокомыслящіе и неглубокомыслящіе люди того времени только и желали видѣть въ поэзіи безсодержательность, облеченную въ «металлическій стихъ», и когда собственно Некрасовскихъ стиховъ, выдвинувшихъ ихъ автора изъ длиннаго ряда «увлекавшихъ талантомъ графовъ Толстыхъ, Фетовъ, и просто Толстыхъ», еще не появлялось на свѣтъ. Слово — «дѣльнаго» отмѣчено самимъ Вѣлискимъ. Великій критикъ сказалъ въ своей рецензіи о выступившемъ поэтѣ только двѣ строки, и этими двумя строками съ поразительной ясностью подмѣтилъ и очертилъ всю сущность его сильнаго таланта. Глубина и истинность такого приговора, высказаннаго мимоходомъ, небрежно, — удивительна! Несмотря на множество протекшихъ лѣтъ, они съ рѣдкой точностью опредѣляютъ намъ образъ г. Некрасова, рисуютъ его всего, во весь ростъ, со всѣми его высокими и исключительными достоинствами... Дѣйствительно, если имѣя теперь въ своихъ рукахъ цѣлыхъ четыре тома неизвѣстныхъ критику произведеній нашего поэта, мы пожелаемъ бы въ настоящее время

\*) «Новое Время» 1870 г. № 164. (Ст. Ива).

пропикнуть въ глубину его думъ, сказавшаго о себѣ, что онъ призванъ.

..... воспыть твои страданья,  
Терпѣніемъ изумляющій народъ!  
И бросить хоть единый лучъ сознанья  
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ...

и пожелали бы вмѣстѣ съ этимъ опредѣлить ихъ характеръ и отличительныя свойства, то присутствіе мысли, обнаруженіе сильнаго ума, современности, въ особенности *дѣльность*, отчужденная Вѣликимъ, прежде всего кинулись бы намъ въ глаза... И въ самомъ дѣлѣ, г. Некрасовъ столько же поэтъ, сколько и мыслитель... Поэтъ — и мыслитель! Поэтъ — и объясняетъ народу пути его шествія!... Да съ чѣмъ же это сообразно? гдѣ видано? на что похоже? Гдѣ же божественное вдохновеніе? Гдѣ художественность, поэзія? Гдѣ эстетическія красоты, облагораживающія души смертныхъ людей и возвышающія ихъ надъ мірскою грубостью и порочностью? — Все прямо или косвенно отвергнуто г. Некрасовымъ; — эстетическія красоты имъ поруганы, божественное вдохновеніе опозорено, поэзія оставлена, какъ сусальное золото, только младенцамъ. страдающимъ пастѣдственной золотухой... Вотъ почему, имѣя все это въ виду, нельзя не сознаться, что произведенія г. Некрасова имѣютъ для насъ весьма важное и весьма глубокое значеніе и что на свидѣтельство ихъ можно особенно довѣрчиво положиться.

Въ настоящихъ статьяхъ я не намѣренъ разсматривать всѣхъ стиховъ г. Некрасова, заключающихся въ выпедшемъ въ прошломъ году четвертомъ томѣ... Я ограничусь только тремя, много пятью, ближе другихъ подходящими къ моей цѣли, и попытаюсь отнестись къ нимъ, какъ къ трудамъ мыслителя... Впрочемъ, позвольте, — произнося слово «стиховъ», «стихи», а не *стихотворенія*, какъ бы слѣдовало по заведенному обычаю произносить, я считаю не лишнимъ оговориться. Я знаю, что такое съ моей стороны своеволіе легко можетъ быть найдено очень многими выходящимъ изъ границъ приличія, почему нѣкоторые читатели могутъ съ рѣшительнымъ негодованіемъ отвернуться отъ меня, какъ отъ заблудшей овцы, не признающей многого святого и неприкосновеннаго. Мнѣ, конечно, это было бы весьма обидно... Несмотря на это, однако, рѣшительно переданныя мысли, я все-таки считаю болѣе благоразумнымъ

называть «стихами», а не стихотвореніями, и именно главнымъ образомъ потому, что сомнѣваюсь въ существованіи творческой силы, въ существованіи безсознательнаго и священнаго творчества, этого небеснаго огня, спускающаго на избранныхъ любимцевъ музъ. А само собою разумѣется, что если дѣйствительно нѣтъ этой священной творческой силы, то нѣтъ и творенія, нѣтъ и *стихотворенія*, а есть просто стихи, какъ есть просто и проза. Каждый поклонникъ подобнаго небеснаго огня очень хорошо знаетъ, что такой огонь спускается въ извѣстныхъ, въ риторикѣ прописанныхъ, случаяхъ и на главу того, кто передаетъ свои мысли прозой, и что въ прозѣ, какъ поясняется въ тѣхъ же риторикахъ, можно передавать все то же, что передается и въ стихахъ. Однако, зная это, даже самый строгій поклонникъ, повторяю, не осмѣлится называть грубую прозу — «прозотвореніемъ!» Я не говорю уже о настоящемъ времени; нѣтъ, но и въ прежнія времена, во времена господства эстетическихъ пзліяній и восторговъ, когда выходили «Бѣдныя Лизы», «Тарасы Бульбы» и проч., даже и тогда никто не осмѣливался поступить такъ. Почему же слово «творенія», а не писанія, не сочиненія, являются монополіей однихъ поэтовъ? Почему, какой-нибудь г. Н. Боевъ, выжимающій съ великимъ трудомъ свои пустые рифмованные куплеты, и тотъ называетъ ихъ стихотвореніями, и даже, вѣроятно, обидится, когда ихъ ему назовутъ просто стихами? Творческой силы въ подобныхъ бездарностяхъ, конечно, нѣтъ никакой, какъ нѣтъ ее въ сочиняемыхъ казенныхъ объявленіяхъ и проч. За что же первыя произведенія считаются все-таки *твореніями*, а вторыя нѣтъ? Ужасная несправедливость!.. Къ произведеніямъ же г. Некрасова слово «*стихотворенія*» относится еще меньше, чѣмъ къ другому. Онъ не поэтъ, если понимать это слово такъ, какъ понимаютъ его словесники. Его каждый стихъ — есть очень умная статья; онъ просто писатель. Еще можно допустить, что г. Боевъ способенъ иногда что-нибудь сотворить, при чемъ творческая безсознательность способна въ такія минуты его одушевить съ головы до ногъ; но допустить то же самое въ г. Некрасовѣ или даже въ гг. Курочкинѣ и Минаевѣ, есть грубое заблужденіе. Эти люди не творятъ, а думаютъ, соображаютъ и пишутъ. Поэтъ прежняго времени, найдя, напр., въ какой-нибудь завалившейся у себя книжонкѣ забытый неизвѣстно чьей рукой цвѣтокъ, сейчасъ же садился за столъ, клалъ этотъ несчастный

цвѣтокъ передъ собой и начиналъ его допрашивать: чей онъ? откуда? кѣмъ положенъ? и проч. На первомъ планѣ у него тутъ, конечно, начинала рисоваться неземная барышня, съ волнистою грудью, прелесть созданія, она, луна и проч. Творческая сила послѣ этого на поэта нисходила необузданная, онъ впадалъ въ безсознательное состояніе и, не отдавая себѣ никакого отчета въ томъ: дѣло онъ дѣлаетъ или нѣтъ (это значитъ ослѣпяясь вдохновеніемъ) — писалъ, писалъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ, ни о чемъ не думая, ничего не имѣя въ виду, ни съ чемъ не согласуясь, ни къ чему не стремясь. Изъ *ничего* такимъ образомъ получалось *нѣчто*, за что, мимоходомъ не излишне замѣтить, платились ему червонцы. Тутъ было твореніе... Въ настоящее время писателю-поэту не приходится этого дѣлать. Забытый кѣмъ-нибудь въ его книгѣ цвѣтокъ теперь уже если и привлечетъ его вниманіе, то развѣ только затѣмъ, чтобы выкинуть его вонъ. Теперь для поэта существуютъ другія условія, другія темы, обязательно требующія съ его стороны основательныхъ размышленій, глубокаго анализа и широкихъ знаній. Теперь ему приходится думать, соображать и «бросать хоть единый лучъ сознанія на путь», по которому намъ приходится двигаться. Принципъ пользы, универсальный и всемогущій принципъ пользы, теперь долженъ руководить имъ ежеминутно, неотступно, слѣдуя по пятамъ его мышленія, какъ тѣнь, какъ самый строгій, самый зоркій педагогъ; тамъ же, гдѣ есть размысленіе и анализъ, тамъ уже не можетъ быть безсознательнаго творчества. Эти психическія состоянія взаимно уничтожаютъ одинъ другого. Сознательность и безсознательность есть понятія діаметрально-противоположныя, и рѣшительно исключаютъ другъ друга. Г. Некрасовъ вполне удовлетворяетъ упомянутымъ реальнымъ требованіямъ времени. Поэтому, я еще разъ повторяю, слово «стихотворенія» приложимо къ его произведеніямъ меньше, чѣмъ къ кому-либо; оно вовсе не вяжется съ ними, не вяжется настолько, насколько не вязалось бы слово «учепотворенія», поставленное на сочиненіяхъ Спенсера или Милля, или «прозотворенія», поставленное на сочиненіяхъ Тургенева, Гончарова. Оно даже кажется оскорбительно для трудовъ г. Некрасова; по крайней мѣрѣ, мнѣ всегда какъ-то странно его видѣть выставленнымъ на его книгкахъ... Пора бы реальному мышленію относиться съ меньшею сердобольностью къ стѣсняющимъ его традиціоннымъ формамъ, какихъ бы маловаж-

ныхъ размѣровъ ни были эти формы, и пора бы ему повикидать вонъ изъ употребленія множество устарѣлыхъ словъ, только затемняющихъ понятія и сбивающихъ людей съ толку.

Итакъ, намѣреваясь побесѣдовать съ читателями по поводу стиховъ г. Некрасова, я ограничусь въ своихъ статьяхъ только нѣкоторыми изъ нихъ, именно: «Публикой», «Газетной», «Пронала книга», «Судомъ» и «Осторожностью», составляющими совершенно особый элементъ, особенную тему, въ его сочиненіяхъ. Тема эта вызвана нашей прессой и ея измѣнившимся положеніемъ; она вполне закончена и представляетъ много интереса какъ для журналистики, такъ и для общества. Слѣдовательно, какъ читатель и догадывается, я буду имѣть главнымъ образомъ дѣло съ его «пѣснями о свободномъ словѣ». Хорошо, посмотримъ же, что это за пѣсни, какимъ матеріаломъ онѣ могутъ служить намъ и на какія размышленія могутъ наводить публику. Въ виду постоянно ходящихъ грозныхъ слуховъ о совершающемся у насъ пересмотрѣ дѣйствующаго нынѣ устава о печати, мы думаемъ, что такіа размышленія будутъ особенно не лишни.

## II.

Нѣ воли свобода слова  
Негладно пришла.  
Нѣ такъ ужъ безпокойно  
Теперь поидутъ дѣла.

*Н. Некрасовъ.*

Характеристическимъ отпечаткомъ человѣчества служитъ его стремленіе къ истинѣ. Это стремленіе играетъ въ его судьбѣ роль неизсякаемаго источника, освѣщающаго его историческое шествіе, его вѣковое существованіе. Безъ этого плодотворнаго источника невозможно себѣ представить, въ какомъ скотскомъ, пидіотическомъ состояніи пресмыкались бы люди. Ихъ исторія была бы тогда самая печальная и самая жалкая исторія.

Стремленіе къ истинѣ, а черезъ нее — къ измѣненію внѣшнихъ условій жизни, мнѣній, привычекъ, званій, — къ устраненію непріятностей и къ достиженію довольства, является въ людяхъ настолько преобладающимъ и настолько повсемѣстнымъ, что мы не знаемъ ни одного человѣка, ни одного народа, которые прямо или косвенно не направляли бы къ достиженію всего этого своихъ умственныхъ и физическихъ усилій. Каждый человѣкъ желаетъ при-

близиться къ истинѣ, желаетъ имѣть истинныя мнѣнія, понятія, знанія, желаетъ этого если не открыто, то тайно, если не активнымъ желаніемъ, то пассивнымъ, если не мыслемъ, то катаньемъ. Объясненіе этого явленія лежитъ въ раціональной способности человѣческаго ума. Этотъ умъ такъ устроенъ и ему присуще такое бездѣльное свойство, обладая которымъ, онъ имѣетъ способность замѣтить свои ошибки и потомъ исправлять ихъ, основываясь на опытѣ и руководясь критикой. Опытъ и критика есть единственный орудій прогресса, безъ которыхъ немислимо никакое развитіе, никакой успѣхъ, ничего кромѣ застоя и мертвенности.

Постоянныя стремленія людей къ истинѣ — съ одной стороны, и не ослабляющаяся способность людскаго ума исправлять свои ошибки черезъ опытъ и критику — съ другой стороны, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что мнѣнія и понятія мѣнялись. Считавшіяся истинными въ одно время, опровергались и разрушались въ другое, считавшіяся великими и многоцѣнными однимъ поколѣніемъ, отвергались и забывались послѣдующими. Лѣтописи прожитой человѣческой жизни поясняютъ намъ, что каждый вѣкъ имѣлъ свои истины, за абсолютную справедливость которыхъ каждый вѣкъ, въ лицѣ своихъ болѣе лучшихъ представителей, готовъ былъ идти на костеръ и отдаваться самымъ страшнымъ мученіямъ. Стоить припомнить громадность такихъ историческихъ случаевъ, существующихъ на свѣтѣ, выѣстъ съ первымъ постиженіемъ человекомъ истины и до нашихъ дней, чтобы прійти отъ нихъ въ изумленіе и убѣдиться въ подвижности и измѣняемости не только умственныхъ, но и многихъ изъ нравственныхъ истинъ, обыкновенно считающихся неподвижными и неизмѣняющимися... Какъ же измѣнялись эти истины? При какихъ условіяхъ и при какихъ обстоятельствахъ совершалось въ исторіи паденіе однихъ и возникновеніе на ихъ развалинахъ другихъ, снова въ свою очередь смѣнявшихся третьими? Въ чемъ именно должно видѣть единственный путь къ открытію истины? — На рѣшеніе этого вопроса, весьма важнаго для моей цѣли, я пока и остановлю вниманіе благосклоннаго читателя.

Если все мы, вслѣдствіе ли экономическихъ соображеній, грубаго расчета выгодъ, или вслѣдствіе другихъ, болѣе деликатныхъ соображеній, стремимся къ истинѣ, къ истиннымъ знаніямъ, мнѣніямъ, правиламъ поведенія, — а что мы все къ этому стремимся и все этого желаемъ, то противъ дѣйствительности и справедли-

ности такого мнѣнія не можетъ быть представлено никакихъ возраженій даже самыми отпѣтыми обскурантами; смѣлая недобросовѣстность врядъ ли можетъ дойти до такого нахальства, чтобы прямо и открыто рѣшиться утверждать, что человѣчество не хочетъ истины и вовсе не желаетъ достигать ни болѣе истинныхъ мнѣній, ни болѣе истинныхъ понятій! — Если всѣ мы, говоря еще разъ, стремимся къ истинѣ и желаемъ ее знать, то знаніе условій, путей, при которыхъ только и могутъ быть осуществимы наши желанія, — знаніе такихъ путей, открывающихъ истины, представляется для насъ самымъ существеннымъ и самымъ желательнымъ вопросомъ. Зная правильное разрѣшеніе этого вопроса, мы этимъ только однимъ дѣлаемъ уже половину дѣла, потому что избавляемъ себя отъ безплодной необходимости бродить съ завязанными глазами по пустыннымъ полямъ невѣдѣнія и не рискуемъ, вмѣсто обрѣтенія истины, расшибить себѣ черепъ объ первое поставленное препятствіе. Люди зрячіе имѣютъ полныя шансы прямымъ путемъ достигать спасительнаго острова, путемъ, — составляющимъ предметъ искренней зависти людей слѣпыхъ.

Когда человѣку желательно поступить такъ, чтобы его поступокъ могъ служить образцовымъ правиломъ для другихъ, или когда ему желательно вообще поступить безукоризненно справедливо, онъ начинаетъ обыкновенно размышлять... Кажется тутъ нѣтъ ничего неестественнаго? — онъ представляетъ себѣ вопросъ, сосредоточившій его вниманіе, открытымъ, самъ дѣлаетъ на него возраженія, самъ опровергаетъ эти возраженія, и продолжаетъ заниматься такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока запасъ аргументовъ, имѣвшихся въ его умственномъ арсеналѣ, окончательно не истощится, и пока послѣднее слово не останется за тѣмъ или другимъ изъ передуманныхъ имъ мнѣній. Тогда мучительныя сомнѣнія окончены, и человѣкъ поступаетъ именно такъ, какъ указываетъ ему строгій разумъ. Поступая же въ подобномъ случаѣ пзвѣстнымъ образомъ, онъ остается совершенно спокоенъ относительно правильности и безпристрастности своего дѣйствія, ибо сознаетъ, что имъ было сдѣлано все, что только можно было сдѣлать для полученія истиннаго правила поведенія. Точно также поступаютъ и тѣ, кто по малоумію, въ дѣлахъ, лично касающихся ихъ самихъ, обращается за совѣтомъ къ другимъ, и тѣ, кто по добросовѣстности, въ дѣлахъ, непосредственно касающихся постороннихъ лицъ, обращается за выслушаніемъ мнѣній къ этимъ

постороннимъ лицамъ. Всюду, слѣдовательно, преобладающей чертой рельефно обнаруживается такая черта, по которой для полученія истиннаго руководящаго начала, истиннаго мнѣнія по открывшемуся обстоятельству, первоначально требуется его всестороннее обсужденіе, независимая критика, такое обсужденіе и такая критика, которыя не оставили бы въ разсматриваемомъ обстоятельствѣ ни одной мельчайшей частицы, не представивъ противъ нея все, что только можетъ представить къ обвиненію самый «грозный прокуроръ», разумѣется, ничего не искажающій и ничего не утаивающій. Положенныя на вѣсы безпристрастія доводы прямо и просто покажутъ тогда каждому, что именно при такомъ условіи должно быть принято и что должно быть за негодностью отвергнуто. Справедливость тогда удовлетворена и истина открыта...

Такимъ образомъ всесторонность обсужденія, полная свобода, добросовѣстность и неустрашимость требуются отъ каждого человѣка, если онъ вознамѣривается достигнуть правильнаго пониманія своихъ поступковъ и если въ особенности ему желательно, чтобы припципы, управляющіе его дѣйствіями, отличались бы истинностью. Условія не очень тяжелыя и, кажется, для каждого сподручныя... Въ самомъ дѣлѣ, какъ можете вы убѣдиться въ истинности извѣстнаго мнѣнія, не выслушавъ внимательно все, что только можетъ быть представлено человѣческимъ умомъ, имѣющимъ полнѣйшую основательность считаться современнымъ, — представлено въ защиту и противъ этого мнѣнія? Какъ можете вы быть увѣрены, что ваше сужденіе, хотя бы о весьма маловажномъ предметѣ, истина, если оно не подверглось самому строгому инспекторскому осмотру и если этотъ инспекторскій осмотръ не остался имъ доволенъ? Вглядитесь въ себя внимательно и скажите: когда именно убѣжденія, которыя вы имѣли случай сами вырастить, заслуживаютъ въ вашихъ глазахъ полной увѣренности и не заставляютъ васъ болѣе сомнѣваться относительно своихъ достоинствъ? Тогда, когда окружающіе васъ люди, вставая противъ нихъ, истощили къ ихъ опроверженію все свои возраженія, когда убѣжденія все-таки остались непоколебимы, и когда, оставаясь такими, держатся вами открыто, гласно, предлагаясь всеѣмъ желающимъ ежеминутно снова опровергать ихъ, т. е. именно тогда, когда они охраняются не бдительными, стоикими драконами, а своей внутренней, этимъ убѣжденіямъ присущей силой. Тогда вы торжествуете; вашимъ радостямъ и наслажденіямъ нѣтъ конца. Вы до-



вольны, спокойны, счастливы. Вы очень хорошо видите, что вы поступили самым разумным образом, что не оставили безъ вниманія ни одного мнѣнія, терпѣливо выслушали даже пелѣйшій изъ нихъ; еще съ бѣльшимъ терпѣніемъ представили противъ высказанныхъ пелѣностей свои объясненія, инвизиторски не закрывали ушей, когда вамъ говорили дѣло — и несмотря на это, истинность вашихъ мнѣній осталась все-таки не разрушенной и не покачнувшейся. Держа ихъ для всѣхъ открытыми, а не въ тайнѣ, не подъ запрещеніемъ критикѣ касаться ихъ, вы предлагали каждому желающему ихъ опровергать; но желающихъ больше не явилось, опроверженій больше не представилось, — и вотъ ваши мнѣнія, всевозможно испытанныя и никѣмъ больше пезадерживаемыя, какъ непреложно истинныя, разлетаются по всему свѣту. Теперь они дѣйствительно будутъ всѣми признаны за истинныя... Подобное торжество и наслажденіе испытываетъ, напр., въ настоящую минуту «почтенный старецъ» Дарвинъ, благополучно управившійся съ господами Келликерами и имъ подобными. Онъ теперь съ гордостью видитъ, какъ противъ его убѣжденій оказались безсплыны всѣ іезуитскія ухищренія противниковъ, и какъ выношенная имъ теорія, разрушая старыя основанія науки, оказалась побѣдительницею и величественно разносится по всѣмъ образованнымъ странамъ міра... Отсюда, слѣдовательно, весьма явственно вытекаетъ тотъ немудреный выводъ, что непоколебимымъ, незыблемымъ ручательствомъ истинности извѣстнаго ученія или теоріи служить не авторитетъ, не ихъ многовѣчность, не вѣра въ нихъ громаднаго большинства (а сколько у насъ такихъ «истинъ», о которыхъ ничего нельзя говорить и которыхъ требуютъ считать за истинны!), а то обстоятельство, что эти теоріи, находясь въ глазахъ всѣхъ людей открытыми для гласнаго, всеобщаго и свободнаго обсужденія, не встрѣчаютъ больше противъ себя никакихъ возраженій. Вотъ фундаментъ истины и увѣренности въ ней для каждаго. Безъ этого фундамента не можетъ быть ни того, ни другого. Безъ него мнѣніе, признающееся за истинное, есть мертвая буква, неразумная увѣренность — слѣпое и безотчетное поклоненіе. Возьмите какую угодно изъ дѣйствительныхъ истинъ — только возьмите изъ «дѣйствительныхъ», имѣющихъ подъ собой указанный фундаментъ и защищающихъ себя не съ помощью насилья, а своей внутренней силой, — возьмите хоть вращеніе земли, тяготѣніе тѣлъ, въ которыя вы вѣрите... Взяли? — Прекрасно.

Рѣшите же теперь, что служить для васъ непоколебимымъ ручательствомъ истинности этихъ великихъ законовъ. То ли вы видите тутъ, что и относительно другихъ истинъ, о которыхъ вамъ говорятъ, что они потому истинны, что «освящены вѣками», и поэтому относительно ихъ не можетъ быть допущена никакая свободная критика! Но могутъ ли, при подобномъ условіи, онѣ быть приняты за непреложныя, не вызывающія сомнѣнія истины?... При какихъ же обстоятельствахъ люди могутъ принять извѣстное мнѣніе за истинное? Въ чемъ именно слѣдуетъ видѣть единственный путь къ открытію истины и что именно должно служить твердымъ ручательствомъ ихъ дѣйствительности?... Подумайте объ этомъ хорошенько и отвѣтите себѣ, благосклонный читатель.

### III.

Дыбомъ становится волосъ,  
Чѣмъ наводнилась печать!...

*П. П. Голосъ.*

\*) «Понятно, понятно!» говоритъ мнѣ читатель, въ которомъ, однако, нетрудно угадать читателя неблагоклоннаго. — Вы стараетесь доказать, что нѣтъ такихъ истинъ, которыя сами, безъ объясненій и обсужденій, непосредственно, убѣждали бы людей въ своей непогрѣшимости. Вы думаете, что каждое мнѣніе непременно требуетъ проверки, строгаго анализа и свободной критики... Вы впускаете, что такому только мнѣнію и можно оказывать довѣріе, которое имѣло всѣ средства быть истиннымъ, черезъ обсужденіе его со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, черезъ выслушваніе всевозможныхъ возраженій, черезъ самое безпристрастное сравненіе, сопоставленіе и проч. Вы, слѣдовательно, только въ этомъ видите единственный путь къ открытію истины, единственное ручательство истинности? Понятно!... Но вы заблуждаетесь, отвѣчаютъ мнѣ, глубоко заблуждаетесь! Вѣдь это можетъ распространить ужасныя послѣдствія. Вѣдь это можетъ повести за собой то, что...

Дыбомъ становится волосъ,  
Чѣмъ поводнилась печать,—  
Даже умѣренный «Голосъ»  
Станетъ не въ мѣру кричать!

\*) «Новое Время» 1870 г. № 165.

Я спѣшу перебить такого читателя, докладывая ему, что у насъ давно уже и свободное слово и многое другое допущены самимъ правительствомъ, слѣдовательно объ этомъ говорить много нечего. Въ подтвержденіе же дѣйствительности этого событія, я даже сошлюсь ему, для большей убѣдительности, на приводимаго г. Некрасовымъ разсыльнаго, дѣдушку Миная, тридцать лѣтъ добывающаго себѣ хлѣбъ литературнымъ трудомъ и досконально знакомаго со всѣми вопросами, касающимися отечественной прессы. Онъ торжественно объясняетъ:

— «Баста ходить по цензурѣ!  
Ослобонилась печать,  
Авторы наши въ натурѣ  
Стали статейки пушать.  
Къ нимъ да къ редактору нынѣ  
Только и носимъ статьи...  
Словно повысились въ чинѣ,  
Ожили, дѣтки мои!

(«Разсмысл.»)

Слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, что у насъ въ настоящее время существуетъ свобода слова, а вмѣстѣ съ этимъ и всѣ требующіяся основанія для свободной критики... Во всякомъ случаѣ, какъ бы то ни было, но тотъ фактъ, который характеризуетъ отношеніе публики въ этому новому еще у насъ явленію, освобождающему мысль изъ-подъ сковывающей ее опеки, разрушающему общественныя традиціи и ведущему народъ къ свѣту, — этотъ фактъ заслуживаетъ большого вниманія. Несмотря на всю очевидную необходимость и пользу независимаго слова и независимой критики, эта публика относится, однако, къ нимъ крайне враждебно. Она видитъ въ нихъ самаго злѣйшаго врага своимъ вѣрованіямъ, правамъ и всему тому, что ее кормитъ и поитъ, и что боится вызвать о себѣ сужденія... Конечно, тутъ предполагается только *известная* публика, никакъ не все общество, всегда высоко цѣнящее свободу слова, именно — та публика, члены которой «другого закона», кромѣ дендизма въ жизни, не знаютъ, которые живутъ людьми хорошаго тона и умирать ими желаютъ, которые поздно привыкли ложиться, поздно привыкли вставать, кушать кофе, помадиться, бриться, погнати точить и усы завивать; часъ или два передъ тонкимъ обѣдомъ Невскій проспектъ шпифовать», изъ которыхъ болѣе лучшіе —

Систему полумѣръ принявъ за идеаль,  
Ни прогрессистъ, ни консерваторъ,  
Добро ты портилъ, зла не улучшалъ,  
Но честный былъ администраторъ...

(«Медвѣжья охота».)

Всѣ эти высокіе господа, когда говорятъ имъ о свободной литературѣ, о свободѣ мнѣній, требуемыхъ и разумомъ и общимъ благосостояніемъ, встаютъ противъ нихъ со всею энергіею честолюбивыхъ душъ. Дозволятъ каждому высказывать безъ стѣсненія свой образъ мыслей, свободно представлять возраженія и доказательства противъ петинъ и порядковъ, хотя бы освященныхъ и опробованныхъ вѣками, это значитъ, по ихъ убѣжденію, прямо смущать неопытные умы, потрясать всѣ священныя основы въ самомъ ихъ основаніи! Это значитъ допускать, чтобы брать подымалъ руку на брата, сынъ на отца, чтобы всѣхъ обуяло самое дикое невѣріе и чтобы во всемъ воцарилась самая ужасная анархія!... Но такъ ли это? Не вызываются ли подобныя сужденія другими мотивами, менѣе умозрительными, отвлеченными и болѣе наглядными?

Въ стихѣ «Публика» г. Некрасовъ мастерски представилъ намъ именно этихъ людей своеобразнаго образа мыслей, ихъ сredo — самое жалкое и самое убогое; объ немъ не дозволяется свое сужденіе имѣть не почему другому, какъ только потому, что его поклонники не желаютъ утратить — «кровныя лошади... поваръ французъ, и, Боже! какіе давать обѣды: роскошь, изящество, вкусъ!» — Это сredo, какъ не трудно догадаться, и заставляетъ ихъ съ такимъ ожесточеніемъ накидываться на независимую свободу мнѣній... Вотъ сіи отчаянные вопли разстроившихся обѣдовъ съ роскошью, изяществомъ, вкусомъ, глубоко захвачены и воспроизведены съ достовѣрностью и точностью лѣтописца г. Некрасовымъ. Онъ передаетъ это «бѣшеное завываніе волковъ, у которыхъ выпали зубы», ихъ собственными словами, не могущими не возбуждать чувства перасположенія и злости. Вотъ опи:

Боже пошли намъ терпѣнье!..  
Или цензура восприни!  
Всюду одно осужденіе  
Всюду пахальная брань!  
Въ цивилизованномъ классѣ  
Будто растленіе одно,

Бѣдность безмѣрная въ массѣ  
(Гдѣ же берутъ на вино?)  
Въ каждомъ найдется старанье,  
Въ каждомъ продажная честь,  
Только подъ шубой бараньей  
Сердце хорошее есть!..

Нынче журналы читая,  
Просто не вѣришь глазамъ,  
Слышали — новость какая?  
Мы же должны мужикамъ!..

Слышали? Все лишь подобье,  
Все у насъ маска и ложь,  
Глупость, развратъ, узколобье...

Мало, что въ сферѣ публичной  
Трогаютъ всякій предметъ,  
Жизни касаются личной!  
Просто спасенія нѣтъ!  
Если за добрымъ обѣдомъ  
Выпишь ты лишній бокалъ  
И, поругавшись съ сосѣдомъ,  
Громкое слово сказалъ,  
Не говорю ужъ — подрался  
(Рѣдко другъ друга мы бьемъ).  
Хоть бы ты тутъ же обнялся  
Съ этимъ случайнымъ врагомъ —  
Завтра жъ въ газетахъ напишутъ!  
Господи! что за скоты!..

Просто не стало свободы,  
Чести нельзя защитить...  
Эхъ, эти новыя моды!..

Прежде лишь мелкій чиновникъ  
Былъ твоей жертвой, печать,  
Если жъ военный чиновникъ —  
Стой! ни полслова! молчать!  
Но отъ чиновниковъ быстро  
Дѣло дошло до тузовъ,  
Даже коснулся министра  
Неустрасимый Катковъ!..

Къ той же категоріи особъ слѣдуетъ причислить и героя другого стиха г. Некрасова — «Газетная», о которомъ я буду подробно говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Его разсужденіе также заслуживаетъ вниманія, ибо оно, по глубинѣ анализа, весьма поучительно и весьма достовѣрно характеризуетъ озлобленіе противъ

свободы жизни человека, весь свой вѣкъ корявившагося несвободой и стѣбленіемъ этихъ мѣній. Этотъ отставной цензоръ восклицаетъ:

Ужасаюсь, читая журналы!  
Гдѣ я? гдѣ? Цѣпенѣтъ мой умъ?  
Что ни строчка,—скандалы, скандалы!  
Вотъ взгляните — мой собственный кумъ  
Обличень! Моралистъ-проповѣдникъ,—  
Цыцъ! умолкни журнальная тварь!..  
Онъ дѣйствительный статейный совѣтникъ.  
Этотъ чинъ даровалъ ему Царь!  
Мало имъ, что они Маколей  
И Гизота въ печать провели.  
Кровопійцу Прудона, злодѣя  
Тьера выше небесъ вознесли.  
*Къ украшенію имперіи смѣютъ  
Праксаться нечистой рукой!*  
Будетъ время — познать, что посягуютъ! —  
(Старецъ грозно качнулъ головой).  
— А свобода, а земство, а гласность!  
(Крикнулъ онъ и очки уронилъ):  
Вотъ гдѣ бѣдствіе, вотъ гдѣ опасность  
Государству...

(«Газетчикъ».)

Все пошатнулось... О, иди ты  
*Время безъ бурь и тревогъ?..*  
Въ Бога не взрять газеты,  
И отрицаютъ поэты  
Пользу желѣзныхъ дорогъ!  
Дыбомъ становится волосъ.  
Чѣмъ наводнилась печать!

(«Публика».)

Однако, я думаю, будетъ не лишнимъ нѣсколько приостановиться и посмотреть, что это за время безъ бурь и тревогъ, дающее, какъ видно, прочныя основанія для людей своеобразнаго образа мыслей изъяснять имъ свои недоброжелательныя разсужденія. Можетъ быть, это было хорошее и счастливое время, о которомъ нельзя не сожалѣть и къ которому нельзя не стремиться. Можетъ быть, тогда довольство было такъ всеобще, такъ глубоко и полно, что исключало всякія поводы для бурь и тревогъ. Но — увы!.. Время это, съ достаточною отчетливостью воспроизведенное въ прежнихъ про-

изведеніяхъ г. Некрасова, имѣть ключъ къ своему пониманію и въ разсматриваемомъ нами IV томѣ. Я ограничусь только нѣкоторыми данными изъ одного этого тома. Это время безъ бурь и тревогъ было вотъ какое время:

... писать не время было:  
Почти что ничего тогда не проходило!  
Бывали случаи: весь вѣкъ  
Учитался умнымъ человѣкъ,  
А въ книгѣ глупымъ очутился:  
Пропалъ и умъ, и слогъ, и жаръ,  
Какъ будто съ умнымъ приключился  
Апоплексическій ударъ!..

—  
Когда одни житейскія условія  
Сближали насъ, а попросту расчетъ,  
И лишь въ одномъ сближались всѣ сословья,  
Что дружно падали на народъ.

—  
Не думая о томъ, что будетъ далѣ.  
Мы всѣ тогда жрѣли, наживали  
Всѣ, разумеется, кромѣ крестьянъ.

—  
... давно не очень  
Жизнь на Руси груба была  
И, какъ подъ музыку, текла  
Подъ градъ ругательства и пощечинъ...

—  
Великій вѣкъ — великихъ мѣръ!  
Не разсуждать — повиноваться!  
Девизъ былъ общій...  
Когда въ отвѣтъ стenanіямъ народа,  
Мысль русская стонала въ полу-тонъ.

(Изъ «Медвѣжьей охоты».)

Но довольно... Это время безъ бурь и тревогъ мы теперь знаемъ: оно извѣстно всѣмъ. Оно и теперь еще живо въ русской памяти и не пугдается ни въ какихъ комментаріяхъ. Достаточно произнести одно слово, чтобы это время мрачной картиной воздвиглось передъ каждымъ... Такъ вотъ чего вы желаете! вотъ изъ какого золотого источника выходятъ ваши отрицанія свободы мысли, ваши опасенія и ваши своекорыстные мѣропріятія! Вотъ почему вы считаете вредной независимую критику и не желаете допустить свободы мнѣній! Вамъ не нужны дѣйствительныя истины...

Такимъ образомъ, выходя изъ такого нечистаго источника, прикрываясь тѣмъ или другимъ знаменемъ, особаго закала публика полагаетъ, что свободное выраженіе мнѣній, свободное обсужденіе всѣхъ вопросовъ и всѣхъ степеней важности можетъ повести за собой не добро, а зло, не благо, всегда и вездѣ зависящее отъ количества изслѣдованныхъ и открыто содержимыхъ мнѣній, находящихся въ пользованіи страны, а обратно: повести повальное нравственное и умственное разложеніе. Свои мнѣнія и вѣрованія этого рода публика считаетъ такимъ образомъ абсолютно-правильными, неприкосновенными и священными. А считая ихъ съ видимой самоувѣренностью таковыми, они далѣе утверждаютъ, что допустить ихъ изученіе и свободное выраженіе объ нихъ сужденій — рѣшительно нельзя, ибо сейчасъ же явятся ложные пророки, ложныя толкованія, посягнутся сѣмена сомнѣнія, смущенія, и всѣ мирные граждане, въ самое непродолжительное время, совратятся съ путей добродѣтели... Слѣдовательно, для того чтобы разрѣшить — на чьей сторонѣ, въ настоящемъ случаѣ, скрывается справедливость, намъ нужно рѣшить слѣдующіе вопросы. Во-первыхъ: если общепринятія мнѣнія и именно тѣ мнѣнія, которыя отстаиваетъ эта публика, дѣйствительно истинныя, то свободное обсужденіе ихъ, т. е. обсужденіе уже ложное, неосновательное, ведетъ ли всегда за собой разрушительные для общества результаты, ведетъ ли къ невѣрію, къ анархіи, или, какъ утверждаемъ мы, — напротивъ, оно благотворно. Потомъ второй вопросъ, обратно: если общепринятія общественныя мнѣнія ложныя, и свободно обсуждающія ихъ — истинныя, то тогда что... Мы остановимся предварительно на первомъ положеніи. Слѣдовательно, намъ пужно будетъ допустить, что всѣ наши общепринятія мнѣнія, считающіяся большинствомъ за истинныя — дѣйствительно истинныя... Хорошо, мы и допускаемъ.

#### IV.

\*) Исторія намъ свидѣтельствуетъ, что люди очень часто самообольщались открытыми ими истинами. Какъ ни прискорбно такое явленіе, но оно находитъ себѣ мѣсто во всѣ времена, ибо, какъ оказывается, всегда отыскивались личности, которымъ подобныя

\*) „Новое Время“ 1870 г. № 169.



самообольщенія приписали прямыя или косвенныя выгоды. Достигая только до относительной истинности извѣстнаго мнѣнія, теории или доктрины, они начинали утверждать, что постигали ихъ абсолютно, на всѣ времена, непогрѣшимо... Возмутительное явленіе! Стыдъ и позоръ кладеть оно на лица людей, считающихъ себя разумными и мыслящими существами!

Мы можемъ наслаждаться, гордиться найденными нами истинами, — держа ихъ все-таки для обсужденія постоянно открытыми, если только не желаемъ умышленно надувать себя ихъ правильностью; но сладко и самоуверенно дремать съ ними, воспрещая безпристрастной и свободной критикѣ касаться ихъ, — не достойно мыслящаго существа. Честный и мыслящій человѣкъ можетъ въ подобномъ случаѣ говорить только одно: я обладаю истиною... пока противное не будетъ доказано. Своекорыстное песоблюденіе этого разумнаго правила породило официальныя истины. Отсюда же текла ложная и пошлая увѣренность людей въ непогрѣшимости своихъ сужденій, расплодившихъ нетерпимость и гоненія. Событія доказываютъ, что человѣческія мнѣнія, по мѣрѣ развитія знаній, измѣняются, — и съ этимъ согласны всѣ. И несмотря на это, относительно нѣкоторыхъ, болѣе важныхъ мнѣній, все-таки люди утверждаютъ, что они всевѣчны! Есть ли тутъ логическая послѣдовательность?... Но недопускать высказывать сужденія противъ мнѣній, хотя бы истинныхъ и самыхъ цѣнныхъ (явятся или не явятся желающіе принять на себя такой трудъ — это для насъ въ данномъ случаѣ совершенно различно), недопускать высказывать сужденія только потому, что намъ кажется ихъ истинность завершеною, это значитъ признавать себя непогрѣшимѣйшими судьями въ самыхъ труднѣйшихъ вопросахъ. Это значитъ признавать свои убѣжденія безусловно правильными, и убѣжденія всѣхъ другихъ людей — безусловно ложными. Но можетъ ли здравый человѣческій разумъ дойти до такой дерзкой смѣлости? Разумѣется, нѣтъ. Каждый мыслящій человѣкъ, который имѣлъ бы уже больше основаній утверждать противное, непременно возстанетъ противъ такого шарлатанства невѣждъ. И чѣмъ онъ будетъ болѣе убѣжденъ, чѣмъ, слѣдовательно, будетъ, повидимому, имѣть больше основаній утверждать противное, тѣмъ онъ и возстанетъ энергичнѣе. Для примѣра я возьму самый наглядный примѣръ. Я пишу настоящую статью стальнымъ перомъ, ручка котораго выточена изъ дерева. Въ томъ,

что эта ручка действительно выточена изъ дерева и что она деревянная — въ истинности этого «мнѣнія» я убѣжденъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ истинности всѣхъ отвлеченныхъ доктринъ, которыя я, однако, считаю за истинныя и въ которыя вѣрю. Я убѣжденъ въ истинности этого мнѣнія до такой степени живой увѣренности, до какой, сейчасъ думать, самъ Филиппъ II не былъ убѣжденъ въ истинности своей святой католической вѣры. Я объявляю всѣмъ, что ручка, которою я пишу, действительно деревянная... Но вотъ ко мнѣ подходятъ люди и также объявляютъ, что они имѣютъ нѣкоторые основанія предполагать, что ручка, о которой я съ такою увѣренностью говорю, есть педеревянная!!! Какъ я откажусь отъ выслушанія ихъ мнѣнія (воспрещу ли имъ говорить его, или только не пожелаю его слушать — это все равно)... Какъ я зарапѣе, не зная ихъ доводовъ, окрещу такихъ людей именемъ лжецовъ и еретиковъ? Напротивъ, я съ полнѣйшею радостью стану внимать ихъ возраженіямъ. Я даже самъ отправлюсь отыскивать такихъ людей, если только узнаю навѣрное, что такіе господа действительно существуютъ и докажутъ мнѣ мое заблужденіе. Я отдамъ имъ за это свое разубѣжденіе все, что имѣю, даже сниму послѣдній крестъ съ себя... Такъ сильно увѣренъ я въ истинности этого мнѣнія и такъ горячо я желаю бы, чтобы даже и въ такомъ случаѣ мнѣ было доказано мое заблужденіе! И такимъ образомъ непременно поступитъ каждый со своими мнѣніями, если только онъ не захочетъ себя педобросовѣстно обманывать. Тутъ является полнѣйшее желаніе слышать убѣжденіе противоположное нашему, имѣющее смѣлость говорить намъ, что мы заблуждаемся. Тутъ могутъ встрѣчаться такія столкновенія, когда человѣкъ действительно легко рѣшится поставить на карту все, чтобы только имѣть пріятность видѣть себя разубѣжденнымъ. И вотъ законъ для разумныхъ людей: чѣмъ глубже мыслящій человѣкъ убѣжденъ въ истинности извѣстнаго мнѣнія, тѣмъ шире въ немъ желаніе выслушать объясненія, доказывающія его заблужденіе, т. е. что убѣжденіе въ истинности мнѣнія прямо пропорціонально желанію слышать доказательства неистинности мнѣнія.

Устанавливая такой законъ, я не думаю его ограничивать для громаднаго большинства неразумныхъ людей, изъ которыхъ, какъ мнѣ могутъ возразить, очень много найдется глубоко убѣжденныхъ въ истинности своихъ мнѣній, а въ то же время вовсе не желаю-

нихъ слышать доказательства ихъ истинности. Въ подтвержденіе справедливости такого возраженія иные, можетъ быть, сочтутъ нужнымъ представить тѣмъ историческихъ личностей, во вкусѣ упомянутаго сейчасъ мною Филиппа II. Но все эти факты и все ихъ краснорѣчіе равно ничего не будутъ доказывать. Дѣло въ томъ, что убѣжденіе убѣжденію — рознь бываетъ. Одну увѣренность въ истинности извѣстнаго мнѣнія можно назвать глубокимъ убѣжденіемъ, а это будетъ дѣйствительное убѣжденіе, потому что основано на самыхъ лучшихъ началахъ, а другая увѣренность будетъ чортъ знаетъ что, «сапоги возьмѣть», а не убѣжденіе. И не можетъ оно называться убѣжденіемъ никогда, потому что оно не прошло черезъ тѣ реторты и спаряды, черезъ которые проходитъ всякое дѣйствительное убѣжденіе, прежде чѣмъ оно сдѣлается такимъ: — оно не яглось въ пламени свободной критики. Вотъ, если бы все эти убѣжденія погорѣли бы въ немъ, да закалились бы — ну, тогда дѣло другое; тогда можно было бы ихъ назвать глубокими убѣжденіями, а безъ этого всякій сумбуръ, всякую белпберду, витающую въ головахъ такихъ публицистовъ, — какъ Краевского, Каткова или Старчевскаго, болѣе порядочные люди всегда будутъ величать ихъ неотъемлемыми истинами.

Такимъ образомъ, слѣдовательно, обнаруживается, что люди, чѣмъ слабѣе убѣждены въ истинности извѣстныхъ мнѣній, тѣмъ они болѣе не желаютъ выслушивать доказательства мнѣній противныхъ, тѣмъ они, значитъ, нетерпимѣе. Изъ весьма достоверныхъ источниковъ извѣстно, что человѣкъ, чѣмъ вообще имѣетъ меньше убѣжденій, тѣмъ онъ неразсудительнѣе и невѣжественнѣе. Это кажется очень просто. Наши провинціи могутъ въ этомъ отношеніи служить самыми убѣдительными примѣрами. — Такіе люди, думающіе и разсуждающіе только желудкомъ, отличаются самой необузданной и самой дикой нетерпимостью. Слѣдовательно: непогрѣшимость и невѣжество — синонимы. Но если допустить свободное выраженіе мнѣній и противъ высочайшихъ истинъ, важность которыхъ не имѣетъ предѣловъ, то не значитъ ли этимъ прямо обнаружить свое сомнѣніе въ этихъ истинахъ, свою неувѣренность въ ихъ непогрѣшимости? Мыслящіе люди требуютъ анализа вопросовъ, основанія которыхъ непоколебимы. Мы не знаемъ, къ чему приведутъ ихъ изслѣдованія, но если они уже будутъ во всякомъ случаѣ анализировать такіа истины, которыя стоятъ выше всякаго ана-

лиза, — то этого достаточно, чтобы такое дерзкое помышление могло счесться оскорбительнымъ для святости истины. Какъ ни лукавствуйте, но, желая свободнаго обсужденія общепринятыхъ истинъ, вы, мыслящіе люди, непременно не вѣрите въ нихъ. Грубое заблужденіе! Вы говорите, что это высочайшія истины? — Хорошо. Но въ такомъ случаѣ дайте же намъ возможность и убѣдиться въ этой важности настолько же полно и глубоко, насколько того требуетъ сама важность вопроса. Мыслящимъ людямъ желательны тѣ истины, значеніе которыхъ, по вашимъ словамъ, не имѣетъ предѣловъ, видѣть въ своемъ сознаніи не закрытыми глазами, а открытыми; они хотятъ знать ихъ такъ, какъ только можетъ разумное существо знать самыя драгоцѣнныя для него мнѣнія, т. е. всесторонне и всеобъемлюще. Путь къ этому извѣстенъ... Вотъ только объ этомъ мы и хлопочемъ.

Итакъ, говорю еще разъ, я допускаю, что всѣ мнѣнія, общепринятія въ нашемъ обществѣ, абсолютно истинны; болѣе важныя — охраняются имъ болѣе бдительно, менѣе важныя — менѣе бдительно. Будемъ же теперь смотрѣть, какія разрушительныя послѣдствія вытекаютъ для неразвитыхъ массъ отъ свободнаго обсужденія болѣе важныхъ изъ такихъ непреложныхъ мнѣній.

«Освободитель умственнаго развитія Европы», Декартъ, устанавливая принципы новой философіи, которая, впрочемъ, для нашего времени уже давно перестала быть новой, высказалъ также положеніе, — «что умъ человѣческій долженъ останавливаться только на очевидности, имъ самимъ пріобрѣтенной». Положеніе это, взятое отдѣльно, безъ общихъ толкованій Декарта, справедливо. «Когда я, говоритъ французскій философъ, приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого отбросить все, что я получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній, съ тѣмъ чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ если бы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно ли они вѣрны (Бокль. «Истор. Цивил.» Кн. II, стр. 439). Изъ такихъ объясненій слѣдовательно вытекаетъ, что для того, чтобы познать истину, «прежде всего должно освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до новаго испытанія все, что мы приняли прежде», и затѣмъ, приступая къ изысканіямъ, останавливаться уже только на тѣхъ очевидностяхъ,

которыя будутъ тогда нами замѣчены. Слѣдовательно, въ основѣ изысканія истины человекомъ, должно лежать его «я», а не я какого-нибудь Ивана Яковлевича Корейши...

Не подлежитъ сомнѣнію, какъ я уже и говорилъ, — что истина, чѣмъ значительнѣе въ глазахъ общественнаго мнѣнія, тѣмъ съ болѣею силою она должна приковывать наше вниманіе, тѣмъ съ болѣею энергіею, откинувъ предразсудки и предвзятые понятія, мы должны приложить и стараніе убѣдиться въ ея очевидности. Надъ чѣмъ же мыслящимъ существомъ и раскрывать свои способности, какъ не надъ предметами первостепенной важности?... Устанавливая въ своей философіи принципъ, могущій для очень многихъ казаться атеистическимъ, Рене Декартъ обратился къ самому драгоценнѣйшему мнѣнію для людей, именно къ вопросу о существованіи Бога. Но анализируя его (вопросъ), онъ пришелъ въ окончательномъ результатѣ къ тому выводу: что такъ какъ «я есмь то, что думаю», — то бытіе Бога не подлежитъ никакому сомнѣнію». Не правда ли, какъ это просто и остроумно?... Не вытекаетъ ли отсюда то, что истина всегда останется истиной, — и только заблужденія, при правильномъ методѣ изслѣдованія, выкинутся вонъ?

Но не въ этомъ кроется главная сторона дѣла. Недоученіе свободнаго и всесторонняго обсужденія мнѣній, считающихся за непреложно истинныя, ведетъ за собой еще болѣе важныя послѣдствія. Всякая истина, если она не имѣетъ людей, которые посвятили бы себя ей на безкорыстное служеніе, которые бы изслѣдовали ее и о которой свободно излагали бы свои мнѣнія, всякая такая истина, захваченная въ руки однихъ благороднѣйшихъ и слѣпыхъ послѣдователей, неизбежно современемъ покрывается плѣсенью и награждаетъ своихъ адептовъ еще болѣе слѣпотою и скудоуміемъ. Плѣсенью она покрывается оттого, что до нея не касаются человѣческія руки и она пребываетъ въ ненарушимомъ спокойствіи; слѣпота же послѣдователей обнаруживается оттого, что они, ничего не считая нужнымъ разсматривать, до крайней степени отучаютъ свое зрѣніе совершать его специальное отправленіе. Когда въ полѣ пѣтъ враговъ, говоритъ одно старинное поученіе, то воины обыкновенно дремлютъ или засыпаютъ, когда же враги наступаютъ, воины пробуждаются, воодушевляются и оказываютъ удивительнѣйшіе подвиги геройства и мужества. Въ жизни всѣхъ вѣковъ, если мы обратимся къ пройденнымъ событіямъ, люди дѣйствительно только тогда

и являются передъ нами болѣе энергичными и болѣе дѣтельными, когда то или другое обстоятельство ихъ затрогиваетъ за живое. Обыкновенное ихъ состояніе было состояніемъ мертвого могильнаго покоя, именно такого состоянія и такого покоя, которые самымъ неизбѣжнымъ образомъ ведутъ всѣхъ и каждого къ отупѣнію и идиотизму. Живая увѣренность въ истинности мифа при такомъ условіи исчезаетъ; мифы, въ кои-какія разумныя основанія засариваются, теряютъ всякую разумность и всякое внутреннее достоинство; истина извращается въ догму, въ пустое слово, въ форму съ испарившимся содержаніемъ; люди не замѣчаютъ по слѣпотѣ, что и они точно такъ же, какъ и ихъ истины, начинаютъ покрываться толстымъ слоемъ плѣсени, — и все дорогое, великое, потомъ и кровью доставшееся одному поколѣнію, погибаетъ на неопредѣленное время въ мирной средѣ послѣдующихъ поколѣній... Всѣ нравственные доктрины несли такую судьбу. Пока онѣ были гонимы, пока имъ приходилось вести ожесточенную борьбу за свое существованіе и отстаивать всеми своими наличными средствами каждый день своей жизни, онѣ казались энергичны, дѣтельны, предприимчивы; онѣ дышали терпимостью, всепрощеніемъ, братской любовью; они съ изумительной послѣдовательностію прилагали свои нравственные принципы ко всѣмъ поступкамъ; они были разсудительны, внимательны къ доводамъ противниковъ; они приводили всѣхъ въ восторгъ своею добропорядочностію. Но лишь только подымался для нихъ попутный вѣтеръ, лишь только такіа гонимыя доктрины начинали ощущать подъ ногами твердую почву и замѣчать, что они приобретаютъ права гражданства, признаются господствующими, тактика ихъ начинала очень быстро пережѣваться. Они забывались: прежняя добропорядочность, какъ рукой снималась, — и на мѣсто ея гордой поступи выходили дѣйствительныя родственницы: непогрѣшимость и нетерпимость. Припомните для большей наглядности первыхъ христіанъ и ихъ братское, коммунистическое сожительство.

Точно въ такомъ-же родѣ приключаются исторіи, когда въ среду того или другого народа, сладко спящаго подъ плѣсенью со своими сгнивающими истинами, вступаетъ новое ученіе, отвергающее туземное. Люди тогда быстро просыпаются, протираютъ глаза и припимаются за дѣло. Истлѣвшіе остатки истинъ собираются и старательно обчищаются. Возгорается жаркій споръ, обмѣнъ мифовъ,

свободная критика. Всё стоять на ногах; всё приходится работать головой, искать доводов, убеждаться, сознательно осмысливать свои суждения... Когда протестантизм ворвался въ католическую Францію и бурной рѣкой понесся по ея равнинамъ, то растлевающее французское общество вдругъ хватилося за голову и съ небывалой энергіей приступило къ обвиненію своихъ мнѣній. Для папы наступила въ такую пору довольно щекотливая минута. Но это происходило только вслѣдствіе того, что онъ самъ слишкомъ мало былъ увѣренъ въ истинности принциповъ, отъ которыхъ держалъ въ своихъ рукахъ ключъ, и еще меньше былъ увѣренъ въ крѣпости сердецъ своей покорной паствы. Кореро, бывший посланникомъ въ то время во Франціи, писалъ по этому случаю слѣдующее въ 1569 году: — «По моему, писалъ онъ, папа могъ бы сказать, что онъ отъ этихъ волненій гораздо болѣе выигралъ, нежели проигралъ, ибо мнѣ кажется, что до этого раздвоенія распущенность жизни была столь велика, и благоговѣніе къ Риму, къ тому, что въ немъ находилось, столь слабо, что папа считается скорѣе итальянскимъ государемъ, нежели главою церкви и отцомъ всемірной паствы. Но какъ только поднялись гугеноты, католики стали чтить его и самого его признавать истиннымъ намѣстникомъ Христовымъ; они все болѣе и болѣе укрѣплялись въ этомъ убѣжденіи по мѣрѣ того, какъ власть папы отрицалась и опровергалась гугенотами». Такимъ образомъ, гугеноты, нападая на господствовавшее ученіе во Франціи, недовольствуясь старыми формами и отыскивая новыя, тѣмъ самымъ пробудили людей и послужили, съ самою примѣрною преданностью, къ благодѣянію тѣхъ петлѣй, противъ которыхъ они вооружились. Безъ нихъ, святой отецъ, можетъ быть, потерялъ бы со временемъ для французскихъ католиковъ всю свою святость, потерялъ бы безвозвратно, навсегда. Но гугеноты предупредили такое трогательное для папской власти событіе. Они, вызванной ими борьбой, укрѣпили ея истинность въ сознаніи массъ, злили жизнь, силу въ истлѣвавшіе принципы. Гугеноты погибли. Условія, при которыхъ они окончили свое земное странствованіе, весьма назидательны и достойны упоминенія. Они самымъ удовлетворительнымъ образомъ объясняютъ намъ, до какой степени иногда бываетъ неосновательна боязнь того, что въ сущности далеко не имѣетъ устрашающихъ послѣдствій, и до какой степени бываютъ напрасны опасенія людей, впадающихъ



въ ярость, когда они замѣчаютъ, что въ ихъ уютныя помѣщенія пробирается новая мысль, пропикаетъ новая струя воздуха. Когда явился протестантизмъ во Франціи, его сейчасъ же поспѣшили отправить подъ спудъ, какъ вещь зловредную, могущую свратить съ путей добродѣтели благочестивыхъ гражданъ и потрясти всѣ священные и неприкосновенныя основы государства. Но чудное дѣло! — протестантизмъ подъ спудомъ не только не унялся, но дѣйствовалъ еще съ большей энергіей, плодился и множился, какъ песокъ морской, ежеминутно стремясь съ певфройтной силой выйти наружу и затопить все святое... Тогда нашлись такіе смѣлые люди, которые выпустили его на Божій свѣтъ и снова: о, чудное дѣло! — протестантизмъ сталъ истощаться и вымирать: — вожди покидали своихъ послѣдователей, церкви закрывались; по прошествіи непродолжительнаго времени онъ и совсѣмъ прекратился, такъ что страшныхъ гусенотовъ какъ будто никогда и не существовало, и какъ будто они никогда не грозили опасностью государству. Кто знаетъ до какихъ громадныхъ размѣровъ, можетъ быть, дошла бы подземная дѣятельность протестантовъ, не усиленнымъ еще покровительствомъ правительства, если бы не проникъ вмѣстѣ съ нимъ во французское общество и болѣе свѣтскій взглядъ на богословскіе вопросы, и если бы не выступилъ на арену политической дѣятельности Риншелье. Можетъ быть, въ настоящее время, влѣдствіе болѣе продолжительнаго гнета и гоненія новыхъ мифній, мы имѣли бы теперь передъ своими глазами совсѣмъ другія декораціи во Франціи, чѣмъ мы ихъ видимъ... Нашъ расколъ, извѣстный намъ довольно близко, какъ нельзя лучше подходитъ тоже сюда. Его настоящее преслѣдованіе и гоненіе, его истязаніе, пытки и казни, недозволеніе ему открыто и свободно высказать свои мудрствованія и выслушать на нихъ объясненія, породили множество тайныхъ толковъ и размножили его послѣдователей чуть ли не до десяти милліоновъ! Теперь же, съ объявленіемъ всѣмъ этимъ господамъ ихъ терпимости, ростъ ихъ остановился; они уже не множатся, а видимо ослабѣваютъ, теряютъ для неразвитыхъ людей весь свой букетъ; они вымираютъ. Будетъ, конечно, время, когда изъ подобныхъ людей не останется ни одного сторонника, и послѣдуетъ оно тѣмъ скорѣе, чѣмъ всестороннѣе имъ будетъ оказана терпимость. Въ особенности это близко относится до толковъ, признающихъ еще отчасти и теперь зловредными. И не только до однихъ раскольничьихъ тол-

ковъ, но и вообще всякихъ толковъ, не исключая изъ этого числа и такъ называемыхъ неугомонныхъ социалистовъ, кажущихся теперь въ глазахъ однихъ ангелами спасителями, а въ глазахъ другихъ нечадями ада. Дайте человѣку высказаться вполне, совѣтуетъ житейскій опытъ, не прерывайте его потоковъ краснорѣчія (не говорю уже: поддакивайте ему; тогда онъ даже со злостью замолчитъ, возьметъ шляпу и уйдетъ отъ васъ), — нѣтъ, а вы только не прерывайте потоковъ его краснорѣчія, дайте ему договориться до конца, дайте потерѣть кровавыя мозоли на языкѣ — и онъ утратитъ для васъ всю очаровательность, которая такъ ярко блистала при вашемъ поверхностномъ на него взглядѣ. Онъ поблекнетъ, завянетъ... Никогда не слѣдуетъ забывать, что праотецъ Адамъ вкусилъ съ Евою запрещенный плодъ отъ древа познанія добра и зла только потому, что онъ имъ былъ строжайшимъ образомъ запрещенъ. Преданіе тутъ весьма вѣрно подмѣтило одну изъ самыхъ крупныхъ особенностей въ человѣческомъ характерѣ. Подобные несчастные случаи совершаются и въ настоящее время тысячами съ нашими молодыми людьми, вкушающими горькіе плоды отъ древа социализма. Гдѣ больше строгости, тамъ всегда больше и грѣха.

Но, можетъ быть, иные скажутъ, что истинны, имѣя всегда около себя сонмъ друзей и учителей, не нуждаются въ открытой борьбѣ съ врагами именно потому, что эти друзья и учителя сами собой неусыпно блюдутъ за ихъ чистотой и цѣломудріемъ. Они ихъ изучаютъ, поясняютъ и изукрашиваютъ для всѣхъ. Они сами воображаютъ передъ собой враговъ, сообщаютъ своимъ слушателямъ ихъ еретическія мнѣнія и представляютъ на эти еретическія мнѣнія свои возраженія; сами учатъ свою паству познавать лжеумствованія противниковъ обнаженіемъ ихъ ложныхъ основаній, ихъ началъ, на которыхъ создаются противниками отступническія и дикія убѣжденія... Развѣ этого недостаточно для сравненія, размышленій и сознательнаго постиженія истины? О, конечно, далеко не достаточно! Истина нуждается въ настоящихъ, живыхъ врагахъ, а не въ бумажныхъ куклахъ; нуждается въ настоящей борьбѣ, со всѣми ея кровавыми ужасами, а не въ кукольномъ театрѣ, могущемъ оказывать пользу только одному антрепренеру. Друзья всегда своеобразны, пристрастны, лукавы; они всегда стараются показывать дѣйствительность въ ложномъ свѣтѣ: они искажаютъ факты противниковъ, опускаютъ изъ нихъ одни, умышленно обходятъ молча

пьемъ другіе, лгутъ, клеветуютъ. Таковы всѣ друзья. — и такіе вѣрные, преданные друзья для истины, конечно, хуже враговъ...

По теоріи Дарвина, совершенствуется въ выгодномъ для себя и для своего рода направленіи только то, что, во-первыхъ, ведетъ борьбу, находится въ дѣятельномъ, энергическомъ и напряженномъ состояніи, а во-вторыхъ, что обставлено естественными условіями. У дойныхъ коровъ, проживающихъ въ безмятежномъ спокойствіи, никакихъ способностей, выгодныхъ для нихъ и ихъ потомковъ, развиваться не можетъ. Все, что появляется и совершенствуется въ организаціи такихъ безсловесныхъ животныхъ, все это идетъ въ пользу не имъ, а поступаетъ въ карманы ихъ почитателей, заботящихся исключительно только о томъ, изъ чего можетъ предстаться возможность извлекать самое большое количество котлетъ и ростбифовъ. Съ истинами, пребывающими не на свободѣ, а въ неволѣ, въ «прирученномъ» состояніи, дѣлается то же самое... Следовательно, мы теперь приходимъ къ открытію совершенно обратныхъ послѣдствій, вытекающихъ для общества отъ свободнаго выраженія мнѣній по вопросамъ всѣхъ степеней важности, чѣмъ это увѣряетъ «публика». Именно мы убѣждаемся теперь, что всесторонній анализъ, добросовѣстное обсужденіе, свобода, свобода и еще разъ свобода оказываются весьма необходимы для всѣхъ истинъ...\*)

## 1872 г.

\*\*) Поэзія г. Некрасова составляетъ явленіе до сихъ поръ необъясненное нашей критикой. Въ то время, когда стихи его читались и заучивались чуть ли не всею Россіей, и въ особенности Петербургомъ, гдѣ онъ имѣлъ наибольшее число поклонниковъ — критика или молчала о немъ, или ограничивалась голословными похвалами или не менѣе голословными замечаніями личнаго и мелочнаго свойства. Въ то время, когда журналы наши старались «приводить въ публику» гг. Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Мея, развѣсивъ тонкія красоты ихъ поэзіи и борясь всѣми силами съ тѣмъ

\*) Еще за 1870 г. о Некрасовѣ см. «Иллюстрированная Газета», № 2 (ст. М. М—на); «Некра». № 11 («Господа потише»); «С.-Петербургскія Вѣдомости», № 115.

\*\*) Русскія Мѣсяц. 1872 г. № 122. (Ст. А. О.).

равнодушіемъ, въ которомъ естественно упорствовала публика, еще очень мало развѣвшая и оцѣнившая свой вкусъ и неподготовленная къ эстетическимъ наслажденіямъ — никто изъ лучшихъ критиковъ той эпохи, ни Бѣлинскій, ни Вяткинъ, ни Аполлонъ Григорьевъ, не предпринимали подобныхъ усилій ради г. Некрасова. А между тѣмъ г. Некрасова полюбили, талантъ его поняли, и было время — именно въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ — когда этотъ поэтъ пользовался популярностью и любовью своихъ многочисленныхъ почитателей въ большей степени, чѣмъ самые даровитые корифеи новой русской литературы. Случилось такъ, что г. Некрасовъ *самъ* провелъ себя въ публику, заставилъ понять и полюбить себя помимо критическихъ толкованій и разъясненій, безъ которыхъ стихи г. Фета, наиримѣръ, едва ли сдѣлались бы доступны значительной массѣ читателей.

Если мы правильно объяснимъ себѣ, почему именно поэзія г. Некрасова нашла такой легкій доступъ къ сочувствію и пониманію массъ, тогда какъ для того, чтобы провести въ ту же самую публику другихъ поэтовъ, потребовалось не мало талантливыхъ усилій лучшихъ знатоковъ и цѣнителей поэзіи — тогда сами собой опредѣлятся для насъ значеніе и характеръ некрасовской музы. Ошибочно было бы думать, что поэзія г. Некрасова не нуждалась въ услугахъ журнальной критики по какимъ-либо подавляющимъ своимъ достоинствамъ, по своему превосходству, по своей несомнѣнности. Напротивъ, общія требованія поэзіи нигдѣ не получаютъ такого скуднаго удовлетворенія, какъ въ стихахъ г. Некрасова. Идеаловъ у него никакихъ, возбужденіе никогда не отзывается некрепностью, образы большею частью блѣдны и шероховаты; самый стихъ г. Некрасова, въ то время какъ другіе поэты доводили выработанность его до удивительной виртуозности, отличался всегда тяжеловатой неуклюжестью, неровностью, и если по временамъ въ этомъ стихѣ чувствовалась сила, то эта сила весьма походила на заимствованную изъ передовыхъ статей и журнальныхъ трактатовъ. Въ этихъ-то свойствахъ поэзіи г. Некрасова и заключается, какъ намъ кажется, тайна той популярности, какую всегда пользовались произведенія его музы. Стихотвореніе, построенное на внешнихъ, неуволнмыхъ законахъ поэзіи, проникнутое красотой и страстью, облеченное въ гибкій, изящный, виртуозно-отчеканенный стихъ, нуждается въ присутствіи въ самомъ читателѣ нѣкоторой доли

того высшаго развитія, которымъ обладаетъ поэтъ. Такіе читатели никогда не преобладаютъ въ массѣ. Напротивъ, поэзія нѣсколько грубоватая, облекающая въ выразительный стихъ ходячія, общедоступныя идеи, понятна и родственна каждому. Она не требуетъ отъ читателя, чтобъ онъ оторвался отъ круга своихъ ежедневныхъ будничныхъ мыслей и вступилъ въ непривычную для него сферу приподнятыхъ идей, тонкихъ красотъ и эстетическаго сіянія: она сама услужливо спускается до его будничнаго уровня и увѣряетъ его, что за этимъ уровнемъ ничего нѣтъ и ничего не пужно.

Г. Некрасовъ всегда былъ по преимуществу поэтомъ массы. Никому не придетъ въ голову докапываться въ его стихотвореніяхъ глубины мысли или чувства. Идеи, въ которыхъ онъ почерпаетъ свое вдохновеніе, совершенно по плечу каждому, и въ особенности каждому петербургскому чиновнику, мало-мальски свободно относящемуся къ своему начальству. Если мы попробуемъ написать на питочку идейки, особенно часто развиваемыя имъ и служащія основой самыхъ извѣстныхъ его стихотвореній, мы будемъ поражены ихъ незатѣйливостью. Нехорошо обжираться въ англійскомъ клубѣ и проматывать родовыя состоянія на французенюкъ, нехорошо пьянствовать и ругаться; бѣдность не порокъ, особливо когда она есть результатъ честности; достойно сожалѣнія, когда честная мысль не можетъ быть свободно высказана; богатый и знатный человѣкъ обыкновенно нечувствителенъ къ горю бѣдняка; произволъ предварительной цензуры портитъ кровь у сочинителей, хорошая погода лучше дурной, а свобода лучше рабства — вотъ тотъ заколдованный кругъ идей, въ которомъ держится г. Некрасовъ и изъ котораго онъ не только не можетъ, но и не пытается вырваться. Подобныя идеи нельзя предвозвѣщать, потому что онѣ уже присутствуютъ во всякомъ мало-мальски сложившемся обществѣ, и потому г. Некрасовъ во всю свою двадцатилѣтнюю поэтическую дѣятельность ничего не предвозвѣстилъ и не открылъ, а только облекалъ въ стихъ маленькія мысли, высказываемыя свободо-мыслящими департаментскими чиновниками, не слишкомъ бойкими фельетонистами и совершенно темными литераторами, понавшимъ умирать въ обуховскую больницу. Высказывалъ все это г. Некрасовъ съ извѣстнымъ талантомъ, иногда не безъ нѣкоторой пикантности, а въ немногихъ случаяхъ съ неподдѣльною поэзіей (таково, напр., стихотвореніе: «Буду ли ночью по улицѣ темной»). Правда, въ лучшихъ стихотвореніяхъ г. Некра-

слова постоянно слышались отголоски тѣхъ мрачныхъ англійскихъ и нѣкоторыхъ французскихъ поэтовъ, которыхъ въ послѣднее время въ такомъ обиліи переводятъ г. Мининъ и прочіе поэты «Отечественныхъ Записокъ», но для публики пятидесятихъ годовъ фактъ заимствованія оставался неизвѣстнымъ, а нѣкоторый петербургскій откликъ, некупо сообщаемый г. Некрасовымъ своимъ произведеніямъ, придавалъ имъ оригинальный характеръ.

Съ прекращеніемъ «Современника» муза г. Некрасова сохранила прежнюю плодотворность, но въ качественномъ отношеніи произведенія обнаружили сильный ущербъ. Прежнія достоинства оскудѣли, новыхъ не оказалось. Если г. Некрасовъ всегда отличался крайнимъ сдержаніемъ въ формѣ (а зачѣмъ прибѣгать къ поэтической формѣ, когда ею пренебрегаешь?), то въ прежнее время онъ по крайней мѣрѣ строго слѣдилъ за выразительностью стиха и подлинною краткостью: въ послѣднихъ же его произведеніяхъ стихъ оказался окончательнѣе дряблымъ, болтливымъ, а размеры ихъ пошли до крайнихъ предѣловъ. Такую длинную и водянистую вещь, какъ его поэма: «Кому на Руси жить хорошо», едва ли одобрили даже записные поклонники нашего поэта. Въ настоящее время г. Некрасовъ задумалъ тоже весьма большой, повидимому, трудъ, онъ заглазѣлъ «Русскія женщины», часть котораго появилась въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Если бы мы сумели выловить изъ этой поэмы ея основную идею и формулировать краткою фразой ея мораль (извѣстно, что у г. Некрасова всегда есть мораль, и въ этомъ отношеніи онъ приближается къ баснописцамъ), мы, безъ сомнѣнія, были бы до крайности поражены прохотностью и ветхостью этой идеи и этой морали. Дѣйствительно, г. Некрасовъ желаетъ только сказать, что декабристъ князь Т. былъ человѣкъ образованный и развитой, что жена его, рѣшившаяся слѣдовать за нимъ въ Сибирь, поступила великодушно, и что положеніе ихъ обоихъ было тяжелое. Противъ этого трудно спорить, но еще труднѣе не усомниться, чтобы во всемъ этомъ было что-либо новое или глубокое. Затѣмъ остается изложеніе, развитіе сюжета — и увы! — въ этомъ отношеніи весьма немногія строки напоминаютъ прежняго г. Некрасова. Стихъ дряблый, безъ мѣры болтливый, устарѣлый, отзывается какими-то давно забытыми виршами двадцатихъ годовъ. Вотъ для примѣра такой дряблецъ:

Ей ленты алая вилели  
Въ двѣ русыя косы,  
Цвѣты, наряды припесали  
Невиданной красы.

Пишетъ ли кто нибудь такъ въ настоящее время? Не напоминаетъ-ли этотъ куплетецъ старыя-престарыя вирши, предшествовавшіе русскимъ балладамъ Жуковского и сказкамъ Пушкина? Затѣмъ слѣдуютъ обильныя подражанія Рылѣеву:

Луна плыла среди небесъ  
Безъ блеска, безъ лучей,  
Налъво былъ все тотъ же лѣсъ.  
Направо — Енисей.  
Темно! На встрѣчу ни души;  
Ямщикъ на козлахъ спалъ.  
Голодный волкъ въ лѣсной глуши  
Пронзительно стоналъ,  
Да вътеръ бился и ревелъ.  
Играя на рѣкѣ.  
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ  
На *странномъ* (!) языкѣ.  
Суровымъ нагосомъ звучалъ  
Невъдомый языкъ,  
И пуше сердце надрывалъ,  
Какъ въ бурю чайки крикъ.

Смѣемъ увѣрить г. Некрасова, что подобныя подражанія поэтамъ двадцатыхъ годовъ ничего не прибавятъ къ его литературной репутаціи.

\* \* \*

# I.

...Первыя будутъ послѣдними!...

\*) Современная русская беллетристика, съ нѣкотораго времени, служить козломъ очищенія на непорочномъ жертвенникѣ нашей журнальной критики. Нѣтъ такого литературнаго лагеря, который бы

\*) «Дѣло» 1872 г., № 11 (ст. Поетнаго, подъ загл. «Неподрашенная старина»). Настоящая статья помещается болѣе въ виду ея общаго смысла по отношенію къ русской литературѣ, нежели какъ разборъ романа «Три страны свѣта».

Примѣч. В. Зеленина.

не считалъ своею священной обязанностью бросить въ нее своимъ осужденіемъ и рѣшимъ приговоромъ. Со всѣхъ сторонъ сыпятся на нее обвиненія въ безцвѣтности и въ полнѣйшемъ отсутствіи художественнаго элемента. Говоря откровенно, даже въ обвиненіяхъ лиллицутовъ есть своя доля правды, и я вовсе не думаю принимать на себя защиту осуждаемой. Но когда суровые обличители современной беллетристики, обличая ея несомнѣнные недостатки, дѣлають въ то же время умильные глазки беллетристикѣ 40-хъ и конца 50-хъ годовъ, когда они унижаютъ первую для того, чтобы возвеличить вторую, когда они тычуть пальъ въ глаза художественными авторитетами «временъ Бѣлинскаго» — то, уже извините, при всемъ моемъ предубѣжденіи къ оптимизму, я готовъ сдѣлаться въ этомъ случаѣ оптимистомъ, и готовъ воскликнуть: «нѣтъ, то, что *есть*, все же гораздо лучше того, что *было*!» «Жркость» и «художественность» беллетристикъ прошлыхъ десятилѣтій — это, мнѣ кажется, одно изъ самыхъ нелѣпыхъ и неосновательныхъ мнѣній: и «старые» беллетристы были такими же плохими художниками, какъ и новые, они отличались тѣми же недостатками, какими отличаются и «новѣйшіе»; такъ называемая «художественность» отсутствуетъ въ произведеніяхъ первыхъ столько же, сколько и въ произведеніяхъ вторыхъ, если не больше. «Какъ! воскликнуть защитники старыхъ авторитетовъ, какъ, а гг. Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ, — развѣ это не художники! Развѣ это не «художественные перлы и алмазы» беллетристики сороковыхъ годовъ. Найдите-ка что либо подобное пмъ въ вашей современной беллетристикѣ!» Ну, гг. Тургеневъ, Писемскій и Гончаровъ пишуť и теперь, — отчего же, однако, ихъ «современныхъ произведеній» никто не находитъ «художественными перлами и алмазами»? Отчего въ своихъ «Взбаламученномъ морѣ», «Отцахъ и дѣтяхъ» и въ «Обрывѣ» они такъ близко подходятъ къ новѣйшимъ сочинителямъ романтическихъ сплетней, въ родѣ гг. Лѣсковыхъ и Ключниковыхъ, что становится труднымъ опредѣлить, гдѣ кончается «старѣйшій» беллетристъ и гдѣ начинается «новѣйшій». Я знаю тѣ «смягчающія обстоятельства», которыя приводятся обыкновенно въ пользу старыхъ беллетристовъ; ихъ фiasco объясняется недостаточностью ихъ умственнаго развитія, общимъ складомъ ихъ міросозерцанія, помѣшавшимъ имъ понять и оцѣнить современное поколѣніе и современные потребности нашей жизни. Но, мнѣ кажется, это объясненіе нельзя считать вполне



удовлетворительнымъ; къ тому же, мнѣ кажется, что оно рѣшительно противорѣчитъ основнымъ догматамъ тѣхъ самыхъ эстетиковъ, которые сдѣлали изъ гг. Тургенева, Писемскаго и Гончарова художественные авторитеты. Съ точки зрѣнія этихъ догматовъ признано, что на произведенія истиннаго художника не можетъ имѣть существеннаго вліянія его теоретическое міросозернаніе; что оно только направляетъ его художественную дѣятельность на тѣ или другія стороны жизни, что оно лишь ограничиваетъ извѣстнымъ образомъ кругъ доступныхъ ему предметовъ; но что самая *художественность* изображенія этихъ предметовъ — не зависитъ оттого, либераль авторъ или консерваторъ, идетъ онъ въ уровень съ прогрессомъ своего времени или отстаетъ отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите, напр., хоть Антони Тролона. Это несомнѣнный консерваторъ, напыщенный горн. человекъ вполнѣ отсталый во всѣхъ отношеніяхъ, — однако, никто не станетъ утверждать, что собственно *художественная сторона* его произведеній страдаетъ отъ его консервативной отсталости. Изображаемые имъ характеры всегда производятъ на насъ впечатлѣніе характеровъ живыхъ людей, а не ходячихъ маріонетокъ, съ разными припиленными къ нимъ ярлыками и аттестатами. А Тролонъ не Богъ знаетъ еще какой художникъ! Никто не поставитъ его на одну доску съ Диккенсомъ или Теккереемъ. Почему же онъ никогда не писалъ и не напишетъ ничего подобнаго «Взбалтученному морю», «Отцамъ и дѣтямъ» и т. п.? Почему онъ, отставая отъ своего времени, не перестаетъ быть художникомъ? Говорятъ, что художественность старыхъ авторитетовъ стала теперь *выдыхаться* (не я сочинилъ это слово; я беру его иѣликомъ изъ одной либеральной рецензіи, написанной по поводу одного изъ послѣднихъ разсказовъ г. Тургенева). Выдыхаться! но отчего же это только у однихъ насъ *выдыхаются* художники? Почему въ Англіи романы Диккенса и Теккеря, во Франціи романы Сю, Бальзака и Жюль-Занца. — романы, написанные лѣтъ 30, 40 тому назадъ, читаются и продолжаютъ интересовать публику; а мы считаемъ устарѣлыми и не станемъ перечитывать ни «Дворянскаго гнѣзда», ни «Записокъ Охотника», ни «Тысячи душъ», ни «Обыкновенной исторіи» и т. п. Почему, однимъ словомъ, произведенія нашихъ балетристическихъ авторитетовъ всегда такъ тѣсно связаны съ породившимъ ихъ *историческимъ моментомъ*, что чуть только пропадетъ этотъ моментъ, мы сейчасъ же и забываемъ ихъ? Неужели

нашъ общественный прогрессъ такъ быстръ, что жизнь нашихъ отцовъ и даже нашихъ старшихъ братьевъ не представляетъ уже никакихъ общихъ интересовъ, никакихъ точекъ соприкосновеній съ нашею собственною жизнью? Очевидно, подобное объясненіе немыслимо, потому что въ два, три десятилѣтія люди еще никогда не перерождались, да и трудно до такой степени переродиться, чтобы утратить всякую связь съ людьми непосредственно-предшествующихъ эпохъ. Отчего-же всѣ эти Лавренкіе, Рудины, Каширины, Адуевы, Обломовы, переставъ быть современными, перестали быть и интересными? Могло ли бы это съ ними случиться, если бы они были изображены съ художественною правдивостію, если бы они и теперь продолжали производить на насъ впечатлѣніе живыхъ людей, а не мертвыхъ образовъ? Я думаю, что тогда бы этого не случилось. Донъ-Кихоть — давно отжившій типъ, но мы увлекаемся имъ и теперь. Дѣйствующія лица шекспировскихъ трагедій вѣрять въ вѣдьмъ и колдуновъ, и мы все-таки интересуемся ими. Члены Инквизиторскаго клуба едва ли мыслимы въ современной Англіи, а мы не перестаемъ, однако, зачитываться гениальнымъ произведеніемъ великаго романиста. Въ «Notre Dame de Paris» и въ «L'Homme qui rit», передъ нами раскрываются замѣчательные архивы горестей эпохъ древности, но мы не отсылаемъ ихъ подъ столъ, мы не смотримъ на ихъ героевъ, какъ на нѣкоторые историческіе пергаменты, мы видимъ въ нихъ живыхъ людей, мы переносимся въ ихъ обстановку, мы входимъ въ ихъ интересы, мы дѣлаемъ эти интересы своими собственными интересами; намъ кажется, будто эти люди и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ.

Почему-же насъ интересуютъ люди давно отжившихъ поколѣній, и не интересуютъ люди, современные нашимъ отцамъ, много, много что дѣлаютъ? Какъ хотите, а тутъ что-нибудь да пеладно. Или наши «художественные перлы» совсѣмъ не перлы, и если произведенія этихъ «перловъ» заинтересовали одно время публику, то причину этого нужно искать совсѣмъ не въ ихъ *художественности*, а просто въ ихъ современности, — или же... или же наша публика не любитъ своего, всего національнаго, всего русскаго. Но не правдоподобнѣе ли усомниться скорѣе въ художественномъ авторитетѣ нашихъ «перловъ», чѣмъ въ патріотизмѣ всего «народа русскаго»?

Временное, мимолетное, чисто-историческое значеніе беллетристическихъ произведеній даже самыхъ талантиливыхъ нашихъ романи-

стовъ ясно показываетъ, что ихъ слѣпкомъ скоропреходящая популярность обуславливалась совсѣмъ не ихъ художественными достоинствами. Она просто зависѣла отъ тѣхъ мимолетныхъ интересовъ, съ которыми она такъ или иначе была связана. Переменялись интересы, — забыты и произведенія. Мнѣ, пожалуй, скажутъ, что это одинаково справедливо относительно всѣхъ продуктовъ человѣческаго ума, что каковы бы ни были ихъ внутреннія достоинства, по разѣ миновались вызвавшіе ихъ интересы, исчезаетъ и ихъ цѣнность. Конечно, это правда. Но дѣло въ томъ, что интересы — интересамъ рознь. Есть интересы такіе мелкіе и ничтожные, что они мѣняются каждый годъ, каждое десятилѣтіе, и есть интересы, съ одинаковою силою волнующіе человѣчество втеченіи многихъ и многихъ вѣковъ, интересы не старѣющіе, вѣчно обновляющіеся... Истинно-художественное произведеніе, по самому существу своему, всегда опирается на эти послѣдніе интересы, на интересы, касающіеся *человѣка вообще*, а не *человѣка*, одѣтаго въ *такое-то* именно *платье*, въ *такой-то* мундиръ, служащаго въ *такомъ-то* департаментѣ. Напротивъ, тѣ псевдо-художественныя творенія, которыя сегодня читаются съ восторгомъ, а завтра отъ скуки бросаются подъ столъ — эти творенія всегда исключительно связываются не съ обще-человѣческими интересами, а съ интересами такого-то лица или кружка, такой-то должности, такого-то чина. Измѣнился кружокъ, упразднена должность, переименованъ чинъ, — и старые интересы забыты; забыты и тѣ, которые ихъ воспѣвали. Я знаю, что, говоря это, я реставрирую азбучную истину. Но мнѣ кажется, что именно эта азбучная истина и можетъ объяснить ту мимолетную популярность, которою пользовались творенія «старыхъ авторитетовъ». Они отвѣчали *интересу минуты*, но дальше этого они не шли; минута прошла, а съ нею прошла и ихъ эфемерная слава. Та же участь постигнетъ, безъ сомнѣнія, и современныхъ беллетристовъ, но это все-таки не даетъ права «старѣйшимъ» поднимать носъ передъ «новѣйшимъ». Если бы возможно было искусственнымъ образомъ выдѣлить изъ произведеній нашей «старой» и «новой» беллетристики тѣ, такъ сказать, чисто-публицистическіе интересы, которые связывали или связываютъ ихъ съ живою дѣйствительностью, которые даютъ имъ цвѣтъ и теплоту, которые одухотворяютъ ихъ, то мы получили-бы мертвые остовы, одинаково непривлекательные, одинаково безобразные. Нѣтъ, я даже думаю

или, лучше сказать, я увѣренъ, что «остовы» новой беллетристики оказались бы несравненно лучше и чище отдѣланными, чѣмъ «остовы» старой. Миѣ скажутъ, что мое мнѣніе ни на чемъ не основано, что оно рѣшительно противурѣчитъ «установившимся» и «общепринатымъ» взглядамъ; мало того, оно противурѣчитъ несомнѣнному и конкретному факту. А фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что популярность, которою пользовались «старые» авторитеты, никогда не выпадала на долю «новыхъ», и что даже ни одному изъ новѣйшихъ беллетристовъ не удалось сдѣлаться общепризнаннымъ авторитетомъ. Однако, этотъ фактъ ни мало не смущаетъ меня: когда потребности и интересы минуты можно выражать не иначе, какъ въ туманной и непонятной формѣ *беллетристическихъ притчъ*, то понятно, что вниманіе публики исключительно сосредоточится на этихъ притчахъ, и что притчи, каково бы ни было ихъ внутреннее достоинство, будутъ пользоваться преимущественною популярностью. Чуть кому удастся хоть сколько-нибудь толково высказать въ притчѣ то, что всѣхъ занимаетъ, намекнуть на то, на что каждый киваетъ, а прямо указать не можетъ, — вотъ онъ и «авторитетъ», его притча читается, перечитывается, ею восхищаются, въ ней открываютъ какія-то непонятныя прелести, ея возводятъ въ «перлъ созданія». А отнимите отъ этой притчи ее *иносказаніе*, посмотрите на нее не какъ на притчу, а какъ на *художественное произведеніе*, и вы съ удивленіемъ спросите себя: «да что же тутъ хорошаго? какъ могла такая ничтожная мысль растрогать читателя? какой же это «перлъ», — это просто булыжникъ».

Но сила иллюзіи велика: репутація, разъ созданная подъ ея вліяніемъ, упорно держится и переживаетъ самый предметъ. Съ «перломъ» давно уже обращаются, какъ съ булыжникомъ, а все-таки его называютъ еще по старой памяти *перломъ*. Въ наше время притча уже не имѣетъ прежняго значенія; интересы, занимающіе въ данный моментъ публику, могутъ находить свое выраженіе въ иной, болѣе прямой формѣ... Потому наша современная беллетристика, за отсутствіемъ въ ней, какъ и въ беллетристикѣ прошлыхъ лѣтъ, всякихъ художественныхъ достоинствъ, не можетъ привлекать къ себѣ ни того всеобщаго вниманія, ни пользоваться тѣмъ авторитетомъ, о которыхъ говорятъ присяжные защитники стараго хлама. Вотъ, миѣ кажется, совершенно правдоподобное объясненіе той популярности, которою въ свое время пользовались

«старые авторитеты», того ореола (въ наши дни, правда, значительно потускнѣвшаго), которымъ преданіе и до сихъ поръ окружаетъ ихъ посѣдѣвшія головы. Однако, мнѣ справедливо могутъ замѣтить, что всѣ подобныя соображенія имѣютъ лишь значеніе отрицательныхъ доказательствъ — однихъ ихъ, очевидно, недостаточно; нужны доказательства положительные. А гдѣ ихъ взять?

## II.

Объ этомъ позаботились сами писатели «прошлыхъ лѣтъ». Я сказалъ уже, что для прямого доказательства нужно *искусственно* отдѣлить отъ произведеній старой беллетристики всѣ тѣ *жизненные* моменты, которыя связывали ихъ съ окружавшею ее современностью. Самой критикѣ было бы довольно затруднительно, если даже не невозможно, произвести эту шекотливую операцію. Чего добраве, ее сейчасъ бы обвинили въ подлогѣ и злонамѣренности. Но на наше счастье какой-то спиритъ уѣздилъ «уѣбленную съдвинами» старину пристроиться съ своимъ забытымъ хламомъ къ современной литературѣ. Правда, старина сперва подкрасилась румянами изъ косметическаго магазина Лѣскова и К<sup>о</sup>, дѣло вышло, однако, дрянн. Нарумяненную «дѣву» (т. е. якобы дѣву) сейчасъ же узнали и осмѣяли. Опа, однако, ни мало этимъ не обезкуражилась. «А, вы думаете, что я и въ самомъ дѣлѣ румянюсь румянами г. Лѣскова и К<sup>о</sup>? нѣтъ, — я и безъ румянъ еще не дурна! Вотъ посмотрите!» И въ самомъ дѣлѣ, глубоко вѣруя въ свою красоту, почтенная старость выставила все свое богатство на литературный рынокъ. Гг. Лажечниковъ и Кукольникъ поползли въ редакцію г. Хапа, г. Писемскій погналъ своихъ «Людей сороковыхъ годовъ» въ стойло г. Кашпирева, г. Тургеневъ, пропѣвъ себѣ «Довольно», вплетелъ, однако, къ г. Стасюлевичу и сталъ осыпая публику своими «художественными перлами»: разными темными личностями, выросшія на старомъ болотѣ и въ 50-хъ годахъ читавшіяся «не безъ удовольствія», въ родѣ Ольги П. и Грестовскаго (псевдонима), и они тоже присоединили свой двтскій искъ къ общему концерту старыхъ запѣвалъ. Началась литературная реставрація. Зачѣмъ? для чего? Неужели только для того, чтобъ доказать, что «почтенная старость» можетъ обійтись и безъ румянъ? Не знаю, можетъ быть.

Говорятъ, впрочемъ, будто литература есть всегда лишь простое отраженіе жизни, говорятъ, будто жизнь устами «Гражданина» тре-

буетъ какихъ-то «точекъ», будто требованіе это оказалось поспѣвшимъ, нѣсколько запоздавшимъ... Все это, однако, не имѣетъ для насъ въ настоящую минуту особаго значенія. Потому или по другому, такъ или иначе, но несомнѣнно, что реставрація совершилась и что она вполне соответствуетъ духу современности. Опять-таки и для этого у насъ имѣется подъ руками безспорное доказательство. Г. Звонаревъ знаетъ этотъ «духъ» наилучшимъ образомъ. Кому жъ и знать, какъ не ему? И чтоже? Онъ откапываетъ изъ архивовъ своего магазина забытый всѣми романъ гг. Некрасова и Станицкаго и приподноситъ его *третьимъ изданіемъ* почтеннѣйшей публикѣ. Вѣдь за этиаъ, какъ слышно, онъ прѣдлагаетъ новое изданіе «Ивана Выжигина» и «Коломенской розы». Итъ соливіа, что, послѣдній романъ будетъ имѣть огромный успѣхъ: онъ имѣетъ рѣшительное преимущество и передъ Н. Выжигинымъ, и передъ «Тремя странами свѣта»: онъ гораздо короче ихъ, всего-то, кажется, изъ двухъ частей. Некрасовъ-же вкупѣ съ Станицкимъ растянули свои Три страны на цѣлыхъ 3 частей или книгъ. Вотъ вамъ при самомъ началѣ вы уже попадаете на сравненіе новой беллетристики со старою», весьма выгодное для первой. Въ новой беллетристикѣ самымъ *блнннымъ* романистомъ считается, и не безъ основанія, г. Воборикинъ. Но и *самъ* г. Воборикинъ никогда еще, кажется, не покушался итти далѣе *шести* книгъ. Вы, пожалуй, скажете, что это совсѣмъ не прогрессъ, а напротивъ, регрессъ. Да, правда, цифра регрессируетъ, число частей уменьшается, по развѣ, пропорціонально этому уменьшенію, не увеличивается удовольствіе читателей?

Итакъ гг. Тургеневъ и Некрасовъ и ихъ издатели — все это люди весьма компетентные по части «духа времени» — единогласно свидѣтельствуютъ, что теперь реставрація «неподкрашенной старины» вполне соответствуетъ этому «духу». Но зачѣмъ же, однако, гг. Тургеневъ и Некрасовъ сами себя бичуютъ, зачѣмъ тѣются они, при содѣйствіи гг. Звонарева и Стасюлевича, угодить нѣбетной Роговской бабѣ въ «Ревизорѣ»? Что касается г. Тургенева, то это, впрочемъ, не особенно удивительно; онъ еще и раньше съ большимъ антономомъ фигурировалъ въ этой роли (вспомните его самооплеваніе по поводу Базарова); но г. Некрасовъ. — Некрасовъ, такой деятельный и щепетильный насчетъ своей литературной репутаціи. — Некрасовъ, такъ тщательно изгоняющій изъ изданій своихъ сочи-

нейшій всѣ дѣтскія ошибки и старческіе промахи не всегда трезвой музы, — г. Некрасовъ реставрируетъ «Три страны свѣта»! Мы никогда не повѣрили бы этому, если бы не имѣли подъ рукою факта. «Три страны свѣта» лежатъ передъ нами, и не явись онѣ третьимъ изданіемъ, могли ли бы мы насладиться зрѣлищемъ «неподкрашенной старины»?

Но позвольте, — скажутъ мнѣ, — зачѣмъ-же вы берете г. Некрасова, какъ одного изъ представителей этой старины? Тургеневъ, — ну, это такъ; а Некрасовъ, — помилуйте, да кто же его когда-нибудь считалъ за выдающагося романиста «старой беллетристики»?

Я и беру его не какъ выдающагося романиста, а какъ романиста зауряднаго, притомъ романиста, не лишеннаго литературнаго таланта и имѣвшаго въ свое время значительный успѣхъ\*), что доказывается тремя изданіями «Трехъ странъ свѣта». Кромѣ того, этотъ романъ можетъ служить однимъ изъ *лучшихъ* представителей цѣлаго цикла романовъ «старой беллетристики». Объ общемъ характерѣ этого цикла я скажу ниже; теперь же достаточно будетъ упомянуть, что онъ составляетъ прямую противоположность другому циклу, представителямъ котораго, съ полнымъ правомъ, можетъ быть названъ г. Тургеневъ. Такимъ образомъ, мы рассмотримъ «неподкрашенную старину» въ двухъ ея главнѣйшихъ, хотя и весьма различныхъ проявленіяхъ. Правда, въ романѣ г. Некрасова она не совсѣмъ не подкрашена (какъ въ послѣднихъ повѣстяхъ г. Тургенева); въ ней осталось еще нѣсколько жилокъ, связывавшихъ ее съ окружавшею ее современностью; но жилочки этихъ такъ мало и онѣ такъ тонки, что ихъ и разсмотрѣть-то трудно; при томъ же разъ онѣ открыты, ихъ очень легко и удобно выбросить вонъ. Въ наше время, когда и проч., онѣ уже не могутъ имѣть ни въ чьихъ глазахъ никакого значенія и ни въ комъ не возбуждаютъ ни малѣйшей иллюзіи.

### III.

Что же это такія за жилки? Или, говоря проще, чему быть объясненъ *въ свое время* успѣхъ этого давно забытаго романа?

\* Читатель долженъ принять въ свѣдѣнію, что, говоря вездѣ о г. Некрасовѣ, я имѣю въ виду автора «Трехъ странъ свѣта», и подразумеваю тутъ же и г. Сташца, и только ради краткости и удобства одну фамилію вмѣсто двухъ.

Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ весьма не трудно, если вспомнить, *каково было* это время. Объ этомъ *до-реформенномъ* времени теперь уже можно говорить съ нѣкоторою отчетливостью. Одинъ этотъ фактъ лучше всякихъ краснорѣчивыхъ описаній показываетъ, что мы отдалились отъ него на весьма значительную дистанцію; а между тѣмъ, и «наше время» никому не кажется особенно «новымъ»: каково же должно было быть то время, когда и эта дистанція не была еще пройдена!

Выражаясь словами одного изъ героевъ одной изъ лучшихъ повѣстей г. Гл. Успенскаго — это было время, когда прижимка: не только не думала «обмякнуть», но, напротивъ, повсюду дѣйствовала съ полною силою и съ гордою самоувѣренностью; когда крѣпостное право считалось идеаломъ нашего благополучія, когда русскій человѣкъ, ежеминутно получая зуботычины, не осмѣливался даже спрашивать: а какой резонъ вы имѣете драться? потому что знали напередъ, что вмѣсто отвѣта получить новую зуботычину. И это называлось въ то время жить по-человѣчески, любить ближняго, какъ самого себя...

Но чѣмъ тяжелѣе время, переживаемое обществомъ, тѣмъ большимъ оптимизмомъ проникается его литература, и въ особенности его беллетристика. Тутъ являются на сцену всевозможные богатыри, великіе или малые, смотря потому, на какой ступени общественнаго и умственнаго развитія стоитъ общество, какіе интересы его занимаютъ, въ какую сторону направлена его практическая дѣятельность. Въ нашей беллетристикѣ, особенно той, которая предназначалась для утѣшенія наименѣе интеллигентныхъ классовъ общества (а слѣдовательно, наименѣе счастливыхъ), герой романа всегда представлялся въ видѣ такого богатыря (такъ называемые *полюбопытные герои*). Мизерепъ и ничтожепъ этотъ богатырь; одѣтъ онъ не въ панцирь и латы, а въ какой-нибудь на прокатъ взятый фракъ или потасканный старомодный плащъ, или просто въ длиннополый купеческій сюртукъ; не горы онъ сдвигаетъ, не змѣй-чубовищъ побѣждаетъ; нѣтъ, его богатырскіе подвиги состоятъ главнымъ образомъ въ томъ, какъ бы денегъ нажить, какъ бы и зубы въ цѣлости сохранить. Однако, если вы вспомните, что повсемѣтная, самая безцеремонная «прижимка» характеризовала режимъ того времени, то вы поймете, какъ много нужно было труда и усилій, чтобы выйти изъ этой «прижимки» цѣлымъ. Въ сущности говоря,



это было даже невозможно, это была просто утопія. Но чѣмъ ите-  
альнѣе, чѣмъ невѣроятнѣе была эта утопія, тѣмъ умилительнѣе и  
успокоительнѣе она дѣйствовала на людей того поколѣнія. Имъ  
пріятно было хоть помечтать о счастливыхъ, не испытанныхъ крѣ-  
постныхъ порядкахъ. Уровень идеала, широта утопіи всегда служатъ  
мѣриломъ уровня общественнаго развитія, широты достижимаго людямъ  
счастья. Посмотрите же, каковъ былъ этотъ идеалъ, какова была  
эта утопія.

Нижій юноша образованный, но бѣдный, способный и честный,  
но легкомысленный и слабохарактерный, влюбляется въ швейку  
— швейку — прекрасную и добродѣтельную, но тоже бѣдную. И  
«добродѣтельная швейка» и «образованный юноша», вкушавъ доста-  
точное количество плодовъ отъ древа бѣдности, рѣшаются соеди-  
ниться узамъ законнаго брака, но не иначе, какъ упрочивъ пре-  
варительно свое матеріальное положеніе. Задача при ихъ обстоятельствахъ  
довольно трудная: но она усложняется еще болѣе тѣмъ обстоятель-  
ствомъ, что и швейка, и юноша желаютъ и «капиталь» пріобрѣсти,  
и невинность сохранить. Погоревавъ и поплакавъ, они, наконецъ,  
придумываютъ слѣдующую комбинацію: швейка остается въ Пете-  
рбургѣ и на одну себя беретъ исключительную обязанность сохра-  
нить невинность; не думая о пріобрѣтеніи капитала; юноша же  
отправляется рыскать по свѣгу и беретъ на себя исключительную  
обязанность пріобрѣсти капиталъ, не думая о невинности. Какъ  
задумано, такъ и сдѣлано: «добродѣтельная швейка» обречена  
въ Петербургѣ свою невинность, «образованный юноша» въ Новой  
Землѣ и въ Русской Америкѣ (тогда она, разумѣется, еще не была  
продана американцамъ) сколачиваетъ капиталъ. Затѣмъ онъ возвра-  
щается въ Петербургъ, и капиталъ соединяется съ невинностью.  
Такимъ образомъ, задача разрѣшается къ удовольствію читателей,  
никогда не видѣвшихъ въ практической жизни такого счастливаго  
сочетанія. Но читатель можетъ утѣшаться и не однимъ этимъ.  
Имѣя, людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, вдругъ говорить, что собствен-  
ными усилиями можно добиться богатства, т. е. силы, что упорное  
стремленіе къ цѣли, въ концѣ концовъ, всегда приводитъ къ ея  
достиженію, какъ бы ни были велики препятствія: ихъ рассказы-  
ваютъ о неисчерпаемыхъ запасахъ скрытой энергіи и предприимчи-  
вости, тающихся въ ихъ собственной груди — въ груди русскаго  
человѣка. Развѣ это не утѣнительно? Правда, эта энергія добывается

не болѣе, какъ 50-ти съ небольшимъ тысячъ, правда, эта предпринимчивость вѣдетъ даже Новой Земли и Русской Америки, правда, «секлы», таящіяся, будто-бы, въ груди русскаго человѣка, ограничиваются лишь силою *пассивной выносливости*, но какъ бы то ни было, а для людей бѣдныхъ, вѣчно унижаемыхъ и оскорбляемыхъ и такая сила, и такая энергія, и такая предпринимчивость должны были казаться чѣмъ-то возвышеннымъ, идеальнымъ. Вы скажете, читатель, что это *возвышенное* слишкомъ мелко, что это *идеальное* слишкомъ пошло, но какова жизнь, таковы и ея идеалы.

Романы г. Некрасова, утѣшая разныхъ, уже не воображаемыхъ, а действительныхъ *Каютовъ*, *Граблыныхъ*, *Даниликовыхъ*, *Полинекиныхъ* и т. п., возвышая въ ихъ собственныхъ глазахъ глупость того единственнаго богатства, которымъ они обладали — способности трудиться, въ то же время выражая, хотя и въ слабой, весьма неопредѣленной формѣ, протестъ противъ тогдашнихъ порядковъ. Протестъ былъ еще мизернѣе оптимистическихъ идеаловъ, чѣмъ не шель даже весьма деликатнаго указанія на мрачныя стороны помѣщичьей власти и безмысліе помѣщичьяго времяпрепровожденія (см. въ I томѣ, главы: *Свобѣда*, *Деревенская скука*, а II-хъ — седьмую часть, стр. 243—320), на самодурство боячей, развращенныхъ крѣпостнымъ правомъ, въ родѣ Добротина, Киричева, на бѣдность и страданія честныхъ тружениковъ, въ родѣ Граблына, дяди Полины, матери ея, ея самой, Душишкина и т. п. Теперь все это должно показаться и слишкомъ старымъ, и слишкомъ слабымъ. Но въ то время общее смутное недовольство и въ этихъ, единственно тогда возможныхъ, деликатныхъ указаніяхъ и блѣдныхъ намекахъ могло видѣть благородный протестъ. Ничего, что рядомъ съ злыми помѣщиками приводились примѣры помѣщиковъ добрыхъ, въ родѣ *Гумчанинова* и *Данкова*, рядомъ съ бѣдняками, вѣчно обиженными, выводятся бѣдняки счастливые и обогащающіеся—все это было лишь послѣдствіемъ неудачнаго сочетанія протеста съ оптимизмомъ. Оптимизмъ не только смѣрялъ, но даже извращалъ протестъ; преувеличивая значеніе личныхъ добродѣтелей человѣка, онъ тѣмъ самымъ низводилъ почти къ нулю значеніе общихъ условій жизни...

И такъ, слабый протестъ, разведенный на благодушномъ оптимизмѣ — вотъ, мнѣ кажется, та живая нитка, которая связывала романиста съ его читателями, вотъ что заставляло ихъ раскупить

два изданія «Трехъ странъ свѣта», что обезпечило этому роману его кратковременный успѣхъ. Въ наше время и авторскій протестъ, и авторскій оптимизмъ не имѣютъ ни малѣйшаго смысла, они уже не производятъ ни малѣйшей иллюзіи; *современность* романа исчезла, и что же осталось? Восемь частей безцвѣтныхъ, скучныхъ правоученій о награжденной добродѣтели и наказанномъ пороѣ,— правоученіе иллюстрированное, ради наглядности, бумажными арлекинами, долженствующими изображать живыхъ людей.

#### IV.

Романъ г. Некрасова принадлежитъ къ категоріи романовъ, быющихъ исключительно на вышнихъ эффектахъ, на разные «страсти и ужасы», отъ которыхъ у читателя, по мнѣнію романиста, волосы должны становиться дыбомъ. Въ прежнее время эта категорія романовъ, которую я противопоставляю категоріи романовъ, быющихъ на психологическія тонкости, на детальную отдѣлку индивидуальныхъ характеровъ (объ этой послѣдней категоріи я буду говорить въ слѣдующей статьѣ, по поводу г. Тургенева)—эта категорія романовъ была въ большой модѣ. Отчасти причиною тому была неразвитость публики, для улаженія которой писались эти романы, и отчасти самыя ихъ цѣли и задачи. Ихъ цѣлью всегда было изобразить какого-нибудь положительнаго героя, какого-нибудь мизернаго «богатыря», развить какую-нибудь оптимистическую идею (въ родѣ хоть такой, напримѣръ, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ наказывается). Но будничная, прозаическая жизнь представляла слишкомъ неблагоприятную почву для развитія этой повинной темы. Ее требовалось предварительно переработать въ горнилѣ творческой фантазіи; только при фантастической обстановкѣ добродѣтель могла торжествовать и порокъ наказываться. Отсюда возникла необходимость усащать романъ «неожиданными встрѣчами», неправдоподобными «превращеніями», эффектными столкновеніями, чудодѣйственными «спасеніями» и тому подобными театральными вычурами и прикрасами. Въ наше время на всѣ эти театральные эффекты, на всю эту фантастическую переработку дѣйствительности принято смотрѣть съ безусловно-отрицательной точки зрѣнія. Этотъ взглядъ, указывая на паденіе романовъ разсматриваемой категоріи, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ уменьшеніи оптимистическихъ тенденцій современной литературы. Однако, если въ прежнее время

фантастическая переработка действительности приурочивалась исключительно къ оптимистическимъ цѣлямъ, то нельзя все-таки не видѣть, что это орудіе обоюдо-острое, и что его легко можно бы было обратить на служеніе и другимъ совершенно противоположнымъ цѣлямъ. Нельзя не видѣть, что, изгоняя элементъ творческой фантазіи изъ своихъ произведеній, ограничиваясь однообразнымъ фотографированіемъ будничной прозы мѣщанской жизни, современная беллетристика впадаетъ въ скучную монотонность и вполне заслуживаетъ тотъ упрекъ въ безцвѣтности, который часто ей дѣлается. Поэтому, хотя отсутствіе творческой фантазіи и указываетъ на новое направленіе беллетристики, но оно совсѣмъ не вызывается потребностями этого направленія. При господствѣ въ беллетристикѣ *положительнаго героя* романъ не могъ обойтись безъ ресурсовъ фантазіи; при господствѣ *героевъ отрицательныхъ* безъ этихъ ресурсовъ обойтись можно, но *можно* еще не значить *должно*. И безъ сомнѣнія, если бы фантазія старыхъ беллетристовъ удовлетворяла хотя отчасти условіямъ творческой фантазіи, они имѣли бы рѣшительное преимущество передъ «новыми», у которыхъ уже совсѣмъ нѣтъ никакой фантазіи. Но на самомъ дѣлѣ этого не было, на самомъ дѣлѣ хотя задачи старой беллетристики требовали отъ беллетристовъ *фантазіи*, какъ непремѣннаго условія осуществленія этихъ задачъ, однако у беллетристовъ и тогда оказалось такъ же мало этой способности, какъ оказывается и въ наше время. Только въ наше время скудость творческой фантазіи менѣе рѣжетъ глаза. Чтобы изображать жизнь, *какъ она есть*, притомъ жизнь «мѣщанской среды», узенькихъ интересовъ, пошленькихъ людшекъ, для этого нужно больше наблюдательности, чѣмъ фантазіи. Но изображать жизнь не совсѣмъ *такъ, какъ она есть*, подцвѣчивать и разрисовывать ее въ интересахъ «утѣшенія и успокоенія», или вообще, въ интересахъ какой бы то ни было тенденціи, для этого уже *фантазія* совершенно необходима. А между тѣмъ ея-то и не было въ наличности. Романъ «Три страны свѣта», безспорно, лучшій представитель категоріи романовъ, «бьющихъ на вышніе эффекты». Онъ написанъ не какимъ-нибудь литературнымъ ремесленникомъ, въ родѣ Кукольниковъ, Загоскина, Вулгарина и нѣмъ подобныхъ. Нѣтъ, онъ написанъ, если и не цѣлкомъ, то, по крайней мѣрѣ, при содѣйствіи одного изъ талантливыхъ представителей современной литературы, одного изъ лучшихъ нашихъ

поговы. А уж если у поэта нѣтъ фантазіи, то, согласитесь, у кого же ей быть? Полюбуйтесь же, читатель, на эту *фантазію*.

Общая фабула и тенденція романа намъ уже извѣстны; поспогримъ же теперь, какъ развивается эта фабула въ деталяхъ.

По сцену фабулы романъ самъ собою распадается на двѣ части: въ одной повѣствуется о томъ, какъ «добродѣтельная швейка» свою невинность охраняла; въ другой — какъ образованный юноша кативалъ наживалъ. Походившія юности разуцрашены «бури» въ Ледовитомъ океанѣ, «битвами съ киргизами», «зимовкою въ Новой Землѣ»; къ нимъ прицлѣтены (и замѣтны въ скобкахъ, «ни къ селу, ни къ городу») «походженія русскихъ въ Камчаткѣ и въ Русской Америкѣ», однимъ словомъ, авторъ не покусился на великія «ужасти и страсти», чтобы только заинтересовать читателей среднимъ героемъ и заставить ихъ безъ скуки слѣдить за несложными метаморфозами его счастливой судьбы. Но, увы! благонамѣренныя старанія автора ни мало не увѣнчиваются успѣхомъ. Вы читаете — и зѣбаете, неудержимо зѣбаете. «Бури» не производятъ ни салѣйшаго эффекта, ни «льдины», «сталкивающіяся съ потрясающимъ грохотомъ», ни мало васъ не потрясають. Вы только чувствуете, что отъ вѣвхъ этихъ страшныхъ описаній, дѣйствительно, вѣетъ ледянымъ холодомъ. Вамъ невольпо припоминаются учебники географіи, которые вы съ остервененіемъ зубрили въ дѣтствѣ, — старыл путешествія, которые вы когда-то читали. Вы спрашиваете себя: зачѣмъ понадобились автору всѣ эти «бури и льдины», всѣ эти Камчатки и Новая Земля? Очевидно, что онъ дѣлаеть выписки изъ какого-то стараго, заброшеннаго путешествія; но скомпилированное путешествіе можетъ-ли производить эффектъ художественной картины? А между тѣмъ, бури въ Ледовитомъ океанѣ, суровая природа Новой Земли, жизнь въ дикой Камчаткѣ, набѣги прикаспійскихъ киргизовъ — какія богатые и благодарные темы для художника! Обладай онъ, хоть сколько-нибудь творческою фантазіею, — какія величественныя и потрясающія картины онъ могъ бы намъ представить! Самый плохонькой англійскій или французскій романистъ сумѣлъ бы расшевелить ими первы своихъ читателей; а романистъ русскій наводитъ только скуку. Почему? Да потому, что мы можемъ тогда только волноваться «бурами на Ледовитомъ океанѣ», природою Новой Земли и т. п., когда романистъ сумѣетъ поставить насъ, хоть на минуту въ положеніе

людей, очутившихся зимою на Новой Землѣ, и въ бурю на Ледовитомъ океанѣ. Но чтобы достигнуть такого эффекта, чтобы произвести такую художественную иллюзію, для этого авторъ долженъ самъ предварительно пережить чувства, волнующія этихъ людей. Это не значитъ, конечно, что ему самому нужно побывать и въ Новой Землѣ и на Ледовитомъ океанѣ во время бури. Нѣтъ, психическое состояніе человѣка, застигнутаго бурей въ океанѣ, или зимою на Новой Землѣ, складается изъ цѣлаго ряда разнообразныхъ психическихъ ощущеній; эти ощущенія или ощущенія, по своей природѣ аналогичны имъ, могутъ быть вызываемы и при иныхъ условіяхъ, ихъ могутъ возбуждать и иные обстоятельства, лишь бы только они имѣли что-либо общее съ обстоятельствами «бури» и «зимовки» на Новой Землѣ. Если авторъ испытывалъ подобныя ощущенія, если они ярко запечатлѣлись въ его памяти, ему не трудно будетъ обобщить ихъ въ ту или другую психическую комбинацію, создать изъ нихъ мысленно то или другое психическое состояніе; и это обобщеніе всегда будетъ производить на него, а потому и на насъ эффектъ живого, конкретного, реального чувства.

Почему же русскому романисту почти никогда не удастся создать обобщенія, производящаго такой эффектъ? Мнѣ кажется, это происходитъ отъ общихъ условій нашей жизни: жизнь представляетъ слишкомъ мало поприща для разнообразной дѣятельности, а слѣдовательно и для разнообразныхъ душевныхъ волненій, психическихъ ощущеній. Матеріалъ, доставляемый ею нашей мысли и нашему чувству, слишкомъ однообразенъ; онъ дѣйствуетъ на насъ, мы скорѣе *усыпительно*, чѣмъ *возбудительно*; привычка къ безлечной жизни, къ тупому, равнодушному отношенію къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности, привычка взлелѣянная въ насъ тѣмъ рядомъ историческихъ условій, лишаетъ насъ способности глубоко проникаться вышними впечатлѣніями и живо сохранять ихъ въ своей памяти. На самые, повидному, потрясающіе факты мы смотримъ съ холоднымъ равнодушіемъ, спокойно разсуждаемъ и плоско шутимъ тамъ, гдѣ люди, болѣе насъ чувствительные, выходили бы изъ себя отъ отчаянія, ужаса и негодованія.

При такой психической пассивности, что удивительнаго, если наши романисты — плоть отъ плоти нашей, рѣшительно не въ состояніи перенестись въ положеніе людей, вынужденныхъ силою обстоятельствъ испытывать *сильныя ощущенія*, глубокія потрясенія?

Мнѣ кажется, обратный фактъ былъ бы гораздо удивительнѣе. Неспособные всецѣло проникаться и рельефно запечатлѣвать въ своей памяти психическія волненія, не только своихъ ближнихъ, но даже свои собственныя, наши романисты даютъ намъ лишь блѣдныя очерки этихъ волненій, а потому и изображаемыя ими картины разныхъ «ужастей и страстей», начиная отъ бурь въ Ледовитомъ океанѣ и кончая «бурями» въ лакейскихъ переднихъ, не производятъ на насъ желаемого эффекта: мы смѣемся или зѣваемъ. И мы имѣемъ полное право такъ поступать. Вотъ, напр., въ «исторіи Горбуна» г. Некрасовъ тщится изобразить передъ нами, какъ крѣпостное право искажало и уродовало (не только въ метафорическомъ смыслѣ слова, но и въ буквальномъ) человѣка, поставленнаго въ зависимость отъ произвола помѣщика-самодура. Много тутъ собрано ужасовъ, страстей и неожиданностей. Но все эти ужасы, страсти и неожиданности производятъ на васъ такое же впечатлѣніе, какое производятъ заурядныя, газетныя корреспонденціи, повѣствующія о разныхъ поджогахъ, убійствахъ, подлогахъ и всякихъ другихъ правонарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ уложеніи о наказаніяхъ. Во всей исторіи нѣтъ ничего особенно неправдоподобнаго, даже ничего выходящаго изъ обычнаго склада «старо-помѣщичьей жизни». Вы всему готовы вѣрить, вы нисколько не сомнѣваетесь, что помѣщикъ Брончевскій, приживъ съ дворовой «дѣвкой», Натальей, сына, женился на сосѣдней помѣщицѣ, что Наталью согнали со двора, и что ее вмѣстѣ съ сыномъ гнали и преслѣдовали, что она преждевременно умерла, а у сына выросъ горбъ, что озлобленный «горбунъ» могъ поджечь барскую усадьбу и т. д., и т. д. Все эти факты вы допускаете, но вы пробѣгаете ихъ совершенно равнодушно, ни одинъ изъ нихъ не вызоветъ передъ вашими глазами яркой картины пережитыхъ невзгодъ крѣпостного времени.

Если уже такія потрясающія событія, какъ бури на Ледовитомъ океанѣ, и дикія, хотя и заурядныя проявленія крѣпостного права, создававшаго каждый день, каждую минуту, на каждомъ шагѣ новую драму, новыя «ужасти и страсти», если самыя поразительныя факты суровой природы и безобразной дѣйствительности не разжигаютъ творческой фантазіи поэта, то можетъ ли что сдѣлать будничная, приглаженная, вытощенная проза петербургской жизни? Конечно, нѣтъ. Только выработанная и развитая творческая фантазія могла бы найти здѣсь подходящій для себя матеріалъ.

Но когда такой фантазіи, съ одной стороны не имѣется, а съ другой, она требуется задачами романа, то что тутъ дѣлать автору? У него есть одинъ только исходъ — прибѣгнуть къ помощи той человѣческой способности, которая, обыкновенно, служитъ суррогатомъ фантазіи и которую часто даже и принимаютъ за послѣднюю, къ способности — врать и городить нелѣпости, не смущаться ни требованіями здраваго смысла, ни условіями реальной дѣйствительности. Можетъ быть, эта способность и дѣйствительно есть грубый, элементарный зародышъ фантазіи, въ истинномъ смыслѣ этого слова; можетъ быть, ее тоже слѣдуетъ называть (какъ это и дѣлается въ общежитіи) *фантазією*. Но только эта зародышевая фантазія точно такъ же относится къ нормальной фантазіи, какъ зародышевая память, та память, которая способна запоминать лишь отрывочные, конкретные факты, безъ всякой между ними связи, и рѣшительно не способна группировать и обобщать ихъ, — какъ эта память относится къ нормальной человѣческой памяти. Одинъ знаменитый англійскій психіатръ называетъ такую память — *памятью идиота*; точно также и на тѣхъ же основаніяхъ, соответствующую ей фантазію можно назвать *фантазією идиота*. Если нормально-развитая фантазія соединяетъ въ цѣлостныя картины разнообразныя образы, составленные изъ прошлыхъ впечатлѣній, обобщая *подобное*, выдѣляя *несходное*, и подводитъ конкретное разнообразіе къ внутреннему единству, то, напротивъ, фантазія идиота ограничивается лишь однимъ вѣдшимъ безпорядочнымъ сопоставленіемъ отрывочныхъ представленій, ни мало не заботясь о приведеніи этого случайнаго сопоставленія въ гармонію и соответствіе съ условіями окружающей человѣка дѣйствительности. Оттого продукты этой фантазіи всегда отличаются крайнею нелѣпостью и безалаберностью, не говоря уже о ихъ неправдоподобности. Они не способны возбудить въ насъ ни малѣйшей иллюзіи, не способны заставить насъ, хоть на минуту, принять вымыселъ за реальную, живую дѣйствительность, слушая или читая ея измышленія, мы не очаровываемся и не обманываемся; въ лучшемъ случаѣ, мы только смѣемся; но обыкновенно мы просто говоримъ: «эхъ, врать-то человѣкъ!» и спокойно перестаемъ его слушать или закрываемъ книгу.



V.

Такою именно *фантазією* обладает и авторъ «Трехъ страпъ свѣта». Правда, гдѣ можно, онъ обходится безъ ея ресурсовъ; мы уже указали на эти случаи; но гдѣ безъ творческой фантазіи нельзя обойтись, онъ охотно прибѣгаетъ къ самымъ дикимъ измысламъ. Вся та часть (или правильнѣе говоря нѣсколько частей) романа, мѣстодѣйствіи которой — Петербургъ, и которая посвящена по преимуществу «кознямъ» Горбуна противъ Полинкиной невинности и «злключеніямъ» Полинки, оберегающей свою невинность отъ этихъ козней, — вся эта часть романа переполнена сцѣпленіями самыхъ нелѣпыхъ и невозможныхъ событій. Пересказывать всѣ эти небылицы въ лицахъ было бы скучно, да и не совѣмъ деликатно относительно читателей; любой дубочный романистъ въ родѣ вѣчной памяти Булгарина или Зотова, не сочинить ничего глупѣе и безтолковѣе. Но чтобы мой отзывъ не показался слишкомъ голословнымъ, я приведу, для примѣра, хоть одинъ небольшой эпизодъ.

«Злой» и «сластолюбивый» Горбунъ воспылатъ любовью къ «добродѣтельной швейкѣ», приходившей къ нему какъ-то занимать деньги подъ залогъ вещей. Горбунъ начинаетъ приставать къ ней съ ухаживаньемъ, но когда ухаживанье не ведетъ къ желанному результату, онъ атакуетъ ея неприступную невинность болѣе прямымъ способомъ: при содѣйствіи хозяйки Полинкиной квартиры, которая запираетъ на ключъ дверь атакованной жертвы. Однако «добродѣтельная швейка» обладала не только добродѣтью, но и нѣкоторою физическою силою; благодаря этому обстоятельству, атака не увѣчалась успѣхомъ и Горбунъ со стыдомъ долженъ былъ обратиться вспять, а Полинка только слегка оцарапала себѣ руку о разбитое стекло. Само собою понятно, что такая неудача не потушила, а еще болѣе распалила страсть «злбнаго» Горбуна. Онъ пустился теперь на хитрости: сталъ увѣрять «швейку», что женихъ ея, отправившійся отыскивать капиталъ, измѣнилъ ей; осыпалъ ее письмами и преслѣдовалъ ее на улицѣ, какъ тѣнь. Но упорная швейка не поддавалась: письма она отсылала своему воздыхателю пераспечатанными, а на улицѣ бѣгала отъ него, какъ зоринка отъ будочника. Наконецъ, хитрость восторжествовала надъ добродѣтельною, но неумѣренно-глупою невинностью. Горбуну удалось заманить швейку въ свое «логовище», — да, это былъ не

простой домъ, не обыкновенная квартира петербургскаго обывателя, а лѣговище какого-то лѣснаго звѣря. Послушайте-ка. «Куда же мы прѣехали?», спросила Полинъка, осторожно ступая по какой-то скользлившей доскѣ за своимъ вожатымъ. «Они вошли въ сѣни, потомъ, отворивъ какую-то дверь, снова поднялись по лѣстницѣ и, наконецъ, очутились въ длинномъ и темномъ коридорѣ. Шаги ихъ печально раздавались въ тишинѣ. Сырой, удушливый воздухъ, паутина, которую Полинъка чувствовала на своемъ лицѣ, — все показывало, что люди были здѣсь рѣдкіе гости (каково!). Полинъкѣ опять стало страшно, и, схвативъ артельщика за руку, она робко спросила: «Да куда же мы идемъ?» Затѣмъ ее, какъ водится, втокнули въ какую-то комнату, совершенно темную. «Вдругъ комната отворилась — и ужасъ ни съ чѣмъ несравнимый охватилъ душу несчастной дѣвушки: въ противоположной двери показалась горбатая фигура со свѣчей въ рукѣ. Полинъка хотѣла вскрикнуть, но голоса не достало, и она стояла неподвижно, не сводя своихъ черныхъ, прекрасныхъ глазъ, обезумленныхъ ужасомъ, съ Горбуна... И точно, фигура его могла испугать въ эту минуту. Онъ былъ блѣденъ, но губамъ его пробѣгала судорожная улыбка, тогда какъ глаза сохраняли выраженіе неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвѣчникъ, дрожала. Медленно и плавно сталъ онъ подвигаться впередъ, поводя свѣчей и глазами вокругъ комнаты». Что же Полинъка? «Съ отвращеніемъ отшатнувшись при его приближеніи, она слабо вскрикнула и упала... въ объятія Горбуна» (т. I, стр. 204). Впрочемъ, не безпокойтесь, — все кончилось благополучно. Очнувшись отъ обморока, добродѣтельная швейка увидѣла себя въ комнатѣ великолѣпно убранной. «Вездѣ былъ штофъ, занавѣски съ кистями и бахромой, столы и стулья стариннаго фасона, съ позолотой, зеркала снизу доверху; стѣны были увѣшаны огромными картинами въ золотыхъ рамахъ. На столѣ стоялъ старинный канделябръ; нѣсколько восковыхъ свѣчей ярко освѣщали комнату. Мебель была ужъ слишкомъ массивна и шла скорѣе къ залѣ какого-нибудь замка» (стр. 311). Явился Горбунъ. Онъ сталъ сначала уговаривать, старался затронуть добродѣтельное сердце швейки съ различныхъ сторонъ. Онъ предлагалъ ей вступить съ нимъ въ законный бракъ, обѣщая за это спасти отъ банкротства и тюрьмы мужа ея подруги, онъ старался разжалобить ее своею любовью и, наконецъ, рѣшился соблазнить

своими богатствами. Онъ повелъ Полиньку въ комнату, сверху до низу наполненную всевозможными богатствами. На полкахъ стояли серебряныя вазы, канделябры, кубки, бронзовые часы разной величины; сундуки были набиты серебромъ, штофомъ, парчами, кольцами, браслетами, брилльянтами и т. п. Даже глупенькая Полинька, при видѣ такого баснословнаго богатства, на время забыла о своей добродѣтели: «ей пришли на умъ старыя волшебныя сказки; она улыбнулась и пожалѣла, что Горбунъ не можетъ превратиться въ какого-нибудь красиваго рыцаря» (стр. 317). Горбунъ, разыгрывая бѣса-искусителя, вскричалъ: «Возьмите, возьмите! это ваше, это ваше все, что вы тутъ видите. У меня много еще денегъ... они тоже ваши. А черезъ годъ или два я еще столько же вамъ принесу. Возьмите, возьмите все!». И какъ онъ были добродѣтельны, — Боже мой, какъ онъ были добродѣтельны! Можете себѣ представить: Полинька всѣми соблазнами пренебрегла и осталась тверда, какъ камень. Горбунъ, — какъ это обыкновенно дѣлается въ дѣтскихъ сказкахъ, — заперъ «прекрасную упрямцу», въ одну изъ свѣтлицъ своего замка и обѣщалъ черезъ день прійти за отвѣтомъ. Но Полинька, разумѣется, чудодѣйственнымъ образомъ, черезъ крыши и заборы, улетѣла изъ своей тюрьмы, пошла къ какой-то также добродѣтельной — хотя и не слишкомъ — лоскутницѣ, которая оказалась въслѣдствіи близкимъ другомъ ея матери и бывшей любовницей ея умершаго дяди. Въ качествѣ материннаго друга и дядиной любовницы, лоскутница много содѣйствовала охрапенію и спасенію цѣломудренной швейки; но это содѣйствіе понадобилось, впрочемъ, не теперь, а только въ слѣдующихъ частяхъ; въ «роковую ночь» Полинька лишь переночевала подъ гостепріимнымъ кровомъ материннаго друга, а на утро благополучно добралась до Струнникова переулка (на Петербургской сторонѣ), гдѣ она, въ качествѣ швейки, жительство пыла. Этими и кончились ея *ночныя злоключенія* и затѣмъ начались злоключенія утреннія, дневныя и вечернія, но я уже не стану беспокоить ими читателей. Изъ приведеннаго отрывка и безъ того уже ясно, съ какого рода фантазіею мы имѣемъ дѣло и какую «художественную правду» можемъ мы найти въ дальнѣйшихъ похожденіяхъ «злбнаго горбуна» и добродѣтельной швеи. Въ современной беллетристикѣ даже такое умственное и нравственное убожество, какъ Всеволодъ Крестовскій, и тотъ стоитъ въ *этомъ* случаѣ несправ-

ненно выше авторовъ «Трехъ странъ свѣта». И въ его вымыслахъ (принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ *фантазій идиота*) больше правдивости, больше жизни и конкретной рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компани, сочинившей «Три страны свѣта».

## VI.

Въ романахъ, къ циклу которыхъ принадлежатъ Три страны свѣта», нечего искать художественной отдѣлки характеровъ. Грубо приуроченные къ какой-нибудь предвзятой идее, они пользуются человѣческими фигурами лишь для нагляднаго иллюстрированія и доказательства этой идеи. Но такъ-какъ *идею* можно развивать только съ помощью идей же, то человѣческія фигуры имѣютъ для романиста значеніе лишь простыхъ *знаковъ идей*. Каждая фигура воплощаетъ въ себѣ одну, двѣ, три какихъ-нибудь идеи и этимъ воплощеніемъ исчерпывается вся ея роль. Такимъ образомъ, романъ наполняется мертвыми машинами, ходящими, говорящими и думающими, но только *повидимому*. Въ сущности, въ качествѣ простыхъ машинокъ, онѣ вполне неспособны совершать всѣ тѣ сложныя операціи, изъ которыхъ складывается жизнь живого человѣка. Въмѣсто нихъ ходитъ, говоритъ, думаетъ и т. п. *чортикъ*, котораго всадили въ нихъ романисты. Этотъ чортикъ — воплощенная ими идея. Она всецѣло и безусловно распоряжается бѣдными машинками. Если бы въ этихъ машинкахъ былъ хоть какой-нибудь признакъ жизни, если бы онѣ хоть сколько-нибудь походили на реальныхъ людей изъ плоти и крови, то ихъ можно бы было принять за больныхъ, одержимыхъ такъ называемою *folie raisonnée* или *mania sine delirio*. Посмотрите хоть на ту же Полиньку изъ «Трехъ странъ свѣта»: вся ея жизнь, всѣ ея мысли, всѣ ея движенія сводятся къ любви и охраненію невинности въ отсутствіе любимаго предмета. Кромѣ любви къ Каютину и охраненія невинности у нея нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ, никакихъ другихъ цѣлей; отнимите у нея эту любовь и эту невинность — и у нея ничего не останется, она превратится въ пуль, въ «небытіе», у васъ не сложится объ ней никакого представленія, даже самаго смутнаго и блѣднаго. То же самое случится и съ героемъ романа — Каютинымъ, если вы отнимете у него любовь къ «добродѣтельной швейцаркѣ». Только одна эта любовь даетъ смыслъ его существова-

пю: безъ нея онъ точно также превратился бы въ «небытіе». Она, эта «чистая любовь», возбуждаетъ въ немъ стремленіе къ «накопленію богатствъ», гонитъ его изъ Петербурга на Волгу, съ Волги въ Новую Землю, съ Новой Земли къ Каспійскому морю, съ Каспійскаго моря въ Русскую Америку, а изъ Русской Америки снова приводитъ въ Струнниковъ переулокъ — въ объятія невинной швейки. Конечно, средневѣковые рыцари тоже не мало рыскали ради поцѣлуя «дамы сердца», но вѣдь они дѣлали и кое-что другое: кромѣ интереса любовныхъ походовъ у нихъ были кое-какіе и другіе интересы. А у нашего рыцаря съ Петербургской стороны, кромѣ Полинки, нѣтъ что называется, ni foi, ni loi, ni poi. Впрочемъ, можетъ быть, и есть, потому что въ противномъ случаѣ ему пришлось бы, вѣроятно, отправиться не въ Новую Землю и не въ Русскую Америку, а въ страны хотя и не менѣ теплыя и не менѣ близкія, но за то гораздо менѣ прииспосблennyя къ «торговымъ промысламъ». Но мы дѣлаемъ это предположеніе единственно только въ интересахъ правдоподобія, хотя самъ авторъ не даетъ намъ на то ни малѣйшаго основанія. Все, что мы знаемъ отъ него о героѣ его, сводится лишь къ тому, что герой любитъ Полинку, страстно желаетъ соединиться съ ней вѣчнымъ и неразрывнымъ союзомъ; далѣе мы узнаемъ, что онъ нѣсколько легкомысленъ и «очень хорошъ собою». Затѣмъ о всемъ прочемъ предоставляется догадываться самому читателю.

Такимъ образомъ, и добродѣтельная швейка, и образованный юпоша, за вычетомъ изъ нихъ взаимной «чистой любви», превращаются въ призраки, не имѣющіе ничего общаго съ реальными людьми, — въ призраки неосязаемые и неуловимые. Романистъ вызвалъ ихъ изъ царства тѣней, чтобы съ ихъ помощью доказать основную мысль своего романа: «чистая любовь» все преодолеваетъ и надъ всемъ торжествуетъ; она даетъ силу и капиталъ пріобрѣсти и невинность сохранить; она укрѣпляетъ человѣка въ борьбѣ съ жизнью и ведетъ его, въ концѣ концовъ, къ высшему земному счастью—счастливому браку и богатству. Вотъ эту-то утѣшительную мысль онъ и воплотилъ, ради наглядности, въ своихъ герояхъ; весь ихъ смыслъ и все ихъ значеніе исчерпывается задачей этого воплощенія. Дурно или хорошо выполнили они свою задачу, здѣсь, разумѣется, нѣтъ надобности говорить. Само собою понятно, что ребяческую мысль можно и доказывать только ребяческимъ

образомъ; разбирать эти доказательства было бы тоже чистымъ ребячествомъ.

Счастливы романисты разбираемой нами категорiи, когда имъ приходится воплощать въ своемъ героѣ лишь *одну* какую-нибудь мысль. Тутъ, по крайней мѣрѣ, хотя и нагонишь тоску на читателя, по зато избытокъ упрека въ непоследовательности. Но вотъ бѣда: иногда имъ вздумается сдѣлать изъ героя—воплотителя не одной, а двухъ, даже трехъ, и нерѣдко, совершенно противуположныхъ идей. Характеръ выходитъ разнообразіе — это правда; съ перваго взгляда онъ даже какъ-будто имѣетъ нѣкоторое сходство съ характерами живыхъ людей. Но въ сущности, это только обманъ зрѣнія: при ближайшемъ разсмотрѣніи, онъ оказывается ситетениемъ самыхъ дикихъ и неправдоподобныхъ нелѣпостей.

Такимъ именно и является характеръ Горбуна. Горбунъ, если и не герой, то, во всякомъ случаѣ, главное дѣйствующее лицо романа; безъ него Полинскія пришлось бы очень плохо, потому что отъ кого же бы она стала защищать свою невинность? Горбунъ играетъ роль бѣса-искусителя, карателя, злодѣя и, наконецъ, служитъ нагляднымъ доказательствомъ той истинѣ, что зло рано или поздно, но непременно наказывается. Но этимъ еще не исчерпывается его амплитуда: онъ же долженъ выражать собою нѣкоторый протестъ противъ крѣпостного права. Впрочемъ, протестъ этотъ совершенно сглаживается и затирается его горбомъ: изъ протестанта, созданнаго крѣпостными порядками, авторъ превращаетъ его въ протестанта, созданнаго физическимъ уродствомъ. Конечно, это гораздо благонамѣреннѣе, только... это уже слишкомъ старо, даже и для 50-хъ годовъ.

Мы знаемъ уже, что Горбунъ былъ побочный сынъ нѣкоего богатаго помѣщика, прижившаго его съ своею дворовою дѣвушкой; мы знаемъ также, что дѣвушка, какъ это обыкновенно водилось, была прогнана съ барскаго двора, а помѣщикъ женился на своей сестрѣ-помѣщицѣ. Разумѣется, мальчику, подвергнутому остракизму въѣзду съ матерью, жилось плохо; надъ нимъ смѣялись, его обижали; падшая любовница не могла рассчитывать на снисходительность двора, особенно когда дворня замѣтила, что главная ключница новой барыни, старая и злая Матрепа, ненавидитъ бывшую фаворитку; но такъ какъ мучить ребенка было легче и удобнѣе, чѣмъ мать, то маленькій Добротинъ (такую ему дали фамилію) и

былъ превращенъ въ козлище искупленія за материнскіе грѣшки. Одного этого было-бы достаточно, даже черезъ-чуръ достаточно, чтобы испортить мальчика, развить въ немъ злыя инстинкты и сдѣлать изъ него, въ будущемъ, озлобленнаго и безсердечнаго эгоиста. Но авторъ не удовольствовался этимъ: онъ заставилъ «старую и злую» Матрону уронить ребенка съ лѣстницы; благодаря этому обстоятельству у ребенка выросъ горбъ. Разумѣется, надъ маленькимъ горбуномъ стали еще больше смѣяться; надъ нимъ смѣялись не только тогда, когда онъ былъ маленькимъ, но и когда онъ сдѣлался взрослымъ. Эстетическое чувство людей возмущалось его уродствомъ, и бѣдный уродъ, презираемый и унижаемый, чѣмъ больше росъ, тѣмъ глубже проникался безсильною злобою и ненавистью къ людямъ. «Ужъ только подрасту, грозился онъ, — я имъ задамъ!» Безсильная злоба всегда вырождается въ хитрость и лицемеріе. Горбунъ, затѣвъ чувство мести, подобострастно заискивалъ передъ «сильными міра». Онъ вкрался въ милость къ молодому *барченку*, законному сыну его отца, забавлялъ его сказками, когда барченокъ ходилъ еще въ рубашечкахъ; сталъ участвовать въ его шалостяхъ, когда барченокъ надѣлъ курточку; а когда у барченка прорѣзались усы, онъ помогалъ ему въ любовныхъ шашняхъ съ дочерью экономки. Любовныя шашни открылись, барченку могло сильно достаться отъ строгой матери, горбунъ принялъ все на себя: это не барченокъ, а онъ, горбунъ, завелъ любовныя шашни. Строгая барыня обвиняла его на его мнимой любовницѣ. Горбунъ едва только почувствовалъ, что въ его рукахъ судьба живого человѣческаго существа, что власть его надъ этимъ существомъ безгранична и безконтрольна, — сейчасъ же начинаетъ вымещать на немъ все, что онъ терпѣлъ и терпитъ отъ окружающихъ его людей. Онъ мучитъ свою жену до такой степени, что она, беременная, убѣгаетъ отъ него къ своимъ родственникамъ. На дорогѣ, въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ, она рождаетъ сына и умоляетъ акушерку скрыть его отъ отца, потому что отецъ «такой злодѣй, что убьетъ его, пожалуй». Когда горбунъ отыскалъ свою жену, она уже была трупомъ, а сынъ былъ подкинутъ къ пѣкшему добродѣтельному помѣщику, по имени Тульчинову. Убивъ жену, онъ продолжалъ свои подвиги въ роли «лицемернаго злодѣя». Барченокъ самъ сталъ бариномъ, горбунъ — его довѣреннымъ лицомъ и управляющимъ его имѣніями; въ качествѣ «довѣреннаго лица», онъ

развращать барина и поощрять его мотовство; а въ качествѣ «управляющаго», обиралъ его. Игра кончилась такъ, какъ ей и слѣдовало кончиться: баринъ разорился и былъ убитъ въ Италиі на дуэли; горбунъ обогатился, переѣхалъ въ Петербургъ, сдѣлался ростовщикомъ и прижималъ бѣдныхъ и богатыхъ, сколько только хватало силъ. «Въ Петербургѣ, говоритъ авторъ, — дума его черствѣла не по днямъ, а по часамъ, и скоро уснула глубокимъ сномъ: (т. II, стр. 319.) Прекрасно; до сихъ поръ, нѣтъ еще никакой нелѣпости: горбунъ исправно воплощаетъ собою идею *человѣко-ненавистничества*, хотя, по правдѣ сказать, его челоуѣконенавистничество имѣетъ весьма невинный характеръ, и не идетъ далѣе продѣлокъ самаго зауряднаго мазурика. Но я сказалъ уже, что авторъ сдѣлалъ его воплощеніемъ не одной идеи, а двухъ, и, въ несчастіе, совершенно противоположныхъ. вмѣстѣ съ челоуѣко-ненавистничествомъ авторъ всунулъ въ свою горбатую машинку и въжное и любвеобильное сердце. Когда онъ узнаетъ, что книгопродавецъ Кириичниковъ, котораго онъ разорилъ и довелъ до долгового отдѣленія, — его сынъ, онъ чувствуетъ внезапно такой приливъ родительской въжности, что готовъ сейчасъ же отдать ему все свое состояніе. Въ любви къ женѣ своего бывшаго помѣщика, Сарѣ, и потомъ къ Полипкѣ, онъ обнаруживаетъ столько страсти, самоотверженія и великодушія, и такое удивительное постоянство, что, право, на этомъ поприщѣ съ нимъ могутъ развѣ посоперничать какіе-нибудь среднеуѣковые рыцари, а уже никакъ не мы — «бѣдные пасынки» сѣверной природы. Конечно, эта любовь имѣла исто-животный характеръ, но все-таки она была его *страстью*, подчинявшею себѣ всецѣло всю его жизнь. Но точно такія же права предъявляла на эту жизнь и другая его страсть — челоуѣко-ненавистничество. Повидимому, между двумя противоположными отраслями, между двумя демонами его души, должна была бы начаться непримиримая вражда. Эта вражда, проникая все его мысли, чувства и поступки, должна была бы наложить свою печать на его характеръ. Характеръ, вѣчно путающійся въ противорѣчіяхъ своихъ инстинктовъ и стремленій, представляетъ брѣйне трудную и сложную задачу для художественнаго синтеза. И разумѣется, если бы въ горбунахъ гг. авторы разбираемаго нами романа имѣли намѣреніе нарисовать живого челоуѣка, то для насъ было бы весьма важно и интересно знать, какъ они справились бы съ своею



задачею. Но такого намѣренія они, очевидно, не имѣли, и потому съ нашей стороны было бы странно и не деликатно навязывать имъ какія бы то ни было психологическія или художественныя задачи. Ни о какой внутренней борьбѣ, ни о какихъ психическихъ противорѣчіяхъ они знать ничего не знаютъ. Для нихъ характеръ Горбуна не представляетъ ни малѣйшей сложности: два враждебные демона уживаются въ его сердцѣ весьма дружелюбно; они несколько не стѣсняютъ другъ друга, и каждый дѣйствуетъ вполне самостоятельно. Когда приходитъ чередъ дѣйствовать демону любви, Горбунъ любитъ и только любитъ; когда наступаетъ часъ демона ненависти, Горбунъ ненавидитъ и только ненавидитъ. Это очень просто. А что касается до психологической правды, то авторы на нее не претендуютъ. Имъ пужно только, чтобы каждое лицо воплощало какую-нибудь идейку, *единичную* или *парную*, смотря по требованіямъ ихъ беллетристическаго гранъ-пасьянса, а до всего прочаго — имъ пѣтъ никакого дѣла. Слѣпенькая старушка, убивающая свою скуку за безконечными пасьянсами, несколько не заботится о художественной отдѣлкѣ своихъ картъ; для нея важно только ихъ условное значеніе. Вотъ эта карта означаетъ даму, эта — короля, а дѣйствительно ли походятъ изображенные на нихъ фигуры на живыхъ дамъ и королей, слѣпенькой старушкѣ — это все равно. Гг. Некрасовъ и Станицкій находятся именно въ положеніи этой старушки. Ихъ длинный, длинный гранъ-пасьянсъ, какъ и всякій гранъ-пасьянсъ, опредѣляется не художественнымъ достоинствомъ картъ, а ихъ относительнымъ положеніемъ. Они это знаютъ, и мы это знаемъ; значить насчетъ художественной отдѣлки характеровъ здѣсь и упоминать не стоитъ.

## VII.

А между тѣмъ, повторяю опять, авторы (по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ) не лишены литературнаго таланта, и въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ приходится не *создавать* характеры, а просто *рисовать*, они показываютъ намъ не культи, набитыхъ соломой, а живыхъ, реальныхъ людей; таковы, на примѣръ, въ романѣ Бирничниковъ, Граблинъ, Лиза. Эти люди ничего особеннаго въ себѣ не воплощаютъ; это — простые, обыденныя личности; они случайно стояли въ узкомъ районѣ авторскихъ наблюденій, для ихъ вос-

произведенія не требовалось никакого участія творческой фантазіи, и авторъ воспроизвелъ ихъ довольно вѣрно реальной дѣйствительности. Но и тутъ предвзятая идея романа испортила художническій эффектъ. Одной простой наблюдательности было недостаточно для припренія *жизни* съ оптимистической теоріею, требовалось кое-что другое; а мы уже знаемъ, что этого то *кое-чего* и нѣтъ у автора. О Лизѣ, Граблинѣ и еще двухъ-трехъ дѣйствующихъ лицахъ, похожихъ хотя сколько-нибудь на живыхъ людей, намъ нѣтъ надобности здѣсь говорить: эти лица, во-первыхъ, чисто вводныя, существеннаго значенія въ романѣ не имѣющія, а во-вторыхъ, самъ авторъ останавливается на нихъ лишь мимоходомъ, очерчиваетъ ихъ весьма слабо и блѣдно. Только фигура Лизы представлена довольно живо и рельефно. Но и къ этой фигурѣ авторы ухитрились приписать ярлычекъ съ нравственною сентенціею изъ дѣтскихъ прописей. Вѣтреная, капризная, легкомысленная, по самоубійствѣ и свободно развившаяся барышня (изъ *помышляющихъ внучекъ*) затронула какъ то тщеславіе своего жениха, и необдуманно сказала любимому человѣку, что она не хочетъ быть его женою. За такое непростительное легкомысліе авторы жестоко наказали веселенькую барышню, чуть не довели ее до самоубійства и загубили всю ея жизнь. Конечно, это весьма нравственно; но только уже черезъ чуръ строго! Столь же нравственно, хотя и столь же строго отнеслись они и къ Кириличникову. Кириличниковъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, невѣжественный, тупой, лѣнивый, развратный, безмѣрно глупый и тщеславный кунчикъ, открываетъ на женныя деньги *книжный магазинъ и библіотеку для чтенія на всѣхъ языкахъ*. Въ книжномъ дѣлѣ онъ ничего не смыслилъ, онъ не только никакихъ книгъ съ роду не читалъ, да и видывалъ то ихъ мало. Но его увѣрили, что, открывъ книжный магазинъ и начавъ издавать книги, онъ прославится на всю Россію, что имя его будетъ съ благодарностью произноситься современниками, а память о немъ не умретъ и въ потомствѣ; что «истинные цѣнители изящнаго» поднесутъ ему какой-нибудь подарочекъ, въ видѣ перстня или табакерки, осипавшихъ брилліантами и т. п. Тщеславіе заговорило въ немъ, и вотъ, руководствуясь общезвѣстною моралью: *«здраву моему не препятствуй»*, изъ смиреннаго торговца хомутами и дегтемъ онъ превратился въ двигателя «россійской литературы», въ издателя журнала, въ мецената россійской учености. Само собою по-

нятно, что прикащики его надували, что авторы изъ «знаменитыхъ» дорого сбывали ему свои сочиненія, которыхъ никто не раскупалъ, и что вообще всякій, кто только не былъ дуракъ, поровнилъ сорвать съ него хоть что-нибудь. Съ своей стороны, и Кирпичниковъ не оставался въ долгу: онъ тоже эксплуатировалъ бѣдныхъ писателей, учиталъ у прислуги гроши, надувалъ иногородныхъ подписчиковъ, подкаблывалъ въ книгахъ и т. п. Въ этой обоюдной эксплуатаціи побѣдителемъ, конечно, долженъ былъ остаться наиболѣе ловкій и умный. Кирпичниковъ же былъ безмѣрно глупъ, ничего не смыслилъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся, притомъ попойки и кутежи занимали все его время. А тутъ еще выѣхался «злой горбунъ», и нашъ книгопродавецъ и издатель окончательно разорился. Магазины опечатали, а «двигатели русской литературы» свезли въ долгое отдѣленіе. Въ эту-то критическую минуту горбунъ, скупившій всѣ векселя книгопродавца, узнаетъ, что Кирпичниковъ его сынъ. Въ припадкѣ родительской пѣжности, онъ бѣжитъ къ разоренному купцу и предлагаетъ ему и векселя уничтожить и капиталъ дать. Авторъ вездѣ рисуетъ Кирпичникова жаднымъ, тщеславнымъ, развратнымъ эгоистомъ, совершенно неспособнымъ увлекаться какими бы то ни было идеально-правственными соображеніями. Это самый обыкновенный «купеческій безобразникъ», въ московскомъ вкусѣ. Потому, мы въ правѣ думать, что онъ схватится съ радостью за неожиданное счастье и заключитъ въ свои объятія нежданнаго нежданнаго отца благодѣтеля. Но не тутъ-то было. Оптимистическая теорія романа требуетъ *кары* злодѣянію и *награды* добродѣтели. Какъ кара, такъ и награда должны быть двоякими: внутренними и вѣшными; т. е. злодѣй долженъ быть не только разоренъ и погубленъ, а добродѣтельный обогащенъ и возвеличенъ, но еще кромѣ того первый долженъ внутренне мучиться, сознавая свое злодѣяніе, а второй внутренне радоваться и восхищаться, сознавая свою добродѣтельность. Въ силу этой теоріи Кирпичниковъ очевидно, не могъ принять родительскаго предложенія, а долженъ былъ, ну, по меньшей мѣрѣ, утопиться, сознавъ предварительно всю свою дрянность.

Такъ онъ и поступилъ. На заманчивые посулы отца онъ разразился слѣдующею тирадою: «зачѣмъ ты сулишь мнѣ деньги? я знаю тебя хорошо... да и что мнѣ въ нихъ теперь? Я ихъ имѣлъ: что же я сдѣлалъ изъ нихъ? а, что? я бросалъ ихъ тѣмъ, которые

льстили мнѣ и выгонялъ тѣхъ, кто молилъ о помощи: что мнѣ въ той жизни, какую я велъ? пьянство... да оно-то и погубило меня... Нѣтъ, ничего мнѣ не надо! я вѣкъ свой прожилъ, словно какъ животное, прожилъ свои и чужія деньги, пустилъ по міру жену и дѣтей. Я все сдѣлалъ низкое и злое, что только можетъ сдѣлать человѣкъ! Такъ зачѣмъ мнѣ еще деньги? чтобы опять нонть, кормить льстецовъ, да обсчитывать бѣдныхъ и честныхъ людей? Нѣтъ, все уже кончено! не увидишь, не налюбишься ты больше моимъ позоромъ, моими черными дѣлами... Нѣтъ, нѣтъ! (т. II, стр. 395.) И затѣмъ — бултыхъ въ воду. Горбунъ за нимъ, и оба тонуть. Такъ, да погибнуть грѣшники!

Вотъ какую мораль съ пафосомъ проповѣдывали наши передовые писатели лѣтъ двадцать пять тому назадъ! Сравните теперешняго Некрасова-поэта съ тогдашнимъ Некрасовымъ-беллетристомъ! Кто повѣритъ, что это одинъ и тотъ же человѣкъ? И кто намъ скажетъ, когда этотъ человѣкъ говоритъ искренно: тогда-ли, когда онъ рѣшаетъ вопросъ: «Кому на Руси жить хорошо?» или тогда, когда въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ пишетъ «Три страны свѣта»? Во всякомъ случаѣ будущій историкъ нашей литературы не оставитъ безъ вниманія этого романа. Весьма ничтожный, какъ мы показали, въ чисто-художественномъ отношеніи, онъ весьма важенъ въ отношеніи историко-литературномъ. Пролитая свѣтъ на тогдашнее міросозерцаніе его автора, онъ указываетъ въ то же время и на то, какъ рѣшительно измѣнилась, въ послѣднія полтора десятилѣтія, наша умственная атмосфера. Теперь, я думаю, ни одинъ, самый плохонькій, самый скабресный романшетъ не рѣшился бы признать себя авторомъ «Трехъ странъ свѣта. Хотя и въ наше время, сплошь да рядомъ, пишутся романы съ манекенами, но они не подгоняются, по крайней мѣрѣ, подъ тѣ узенькія и пошленькія идеяки, подъ которыя гг. Некрасовъ и Станицкій подогнали свое произведеніе.

### VIII.

Въ заключеніе обратимъ вниманіе читателей еще на одну (отчасти уже указанную выше) характеристическую черту романа. Жизненный интересъ почти всѣхъ его дѣйствующихъ лицъ вертится на одной *любви*. Любовь играетъ у этихъ людей роль какого-то ужаснаго, то благотельнаго фатума. Она или ведетъ ихъ

къ счастію и блаженству (если они нравственны и благоразумны), или (если они недостаточно нравственны и благоразумны) губить ихъ, низвергаетъ ихъ въ адъ всевозможныхъ внутреннихъ и вѣшнихъ мукъ и страданій. Мы уже видѣли, что два главные героя этого романа представляютъ собою не болѣе, какъ абстрактную идею любви, облеченную въ человѣческія формы. Третій герой-манекенъ, нѣкій добродѣтельный баншичникъ (въ pendant къ добродѣтельной швейкѣ) точно также весь сосредоточивается въ любви къ Полинкѣ. Немножко болѣе похожій на живого человѣка, нѣкій русскій живописецъ-самоучка, тотъ самый, котораго вѣтреная Лиза легкомысленно отвергла, наконецъ, сама Лиза, далѣе Граблинъ, Дарья (дѣвица вольныхъ правовъ), Полинкина мать и т. п. всѣ они только и дышатъ любовью и, разумеется, очень скоро задыхаются. Боже мой, какое обиліе любви! И добро бы занимались этимъ пріятнымъ времяпрепровожденіемъ ожирѣвшіе помѣщики, а то вѣдь, нѣтъ! разные швейки, баншичники, даже «дѣвицы вольныхъ правовъ», — весь этотъ бѣдный, живущій впроголодь людъ, у котораго и безъ того полны руки работы, и онъ также пускается въ идеальное амуричанье! И они нѣжничаютъ и вздыхаютъ, ухаживаютъ и бредятъ чистою любовью. У всѣхъ въ сердцѣ и на умѣ только одно — любовь и какая любовь! самая, повидимому, утопченная и возвышенная! И нельзя сказать, чтобы эта «любовная нота» составляла какую-нибудь отличительную особенность именно одного только этого романа. Нѣтъ, она съ упорнымъ однообразіемъ и съ какимъ-то ослинымъ постоянствомъ звучитъ во всей нашей старой и отчасти новѣйшей беллетристикѣ. Если романисты той школы, къ которой принадлежатъ гг. Некрасовъ и Станицкій, смотрѣли на нее чисто метафизически, видѣли въ ней какую-то субстанцію, переполняющую человѣческія внутренности, какую-то отвлеченную идею, воплощаемую людьми, то романисты другой школы, такъ называемые художники, измѣнили лишь точку зрѣнія и стали разбирать ее чисто-психологически, но все-таки и у тѣхъ и у другихъ она стояла и стоитъ на первомъ планѣ. Говоря о Тургеневѣ, мы познакомились ближе съ отношеніями художнической, правильнѣе сказать, *психологической школы* нашихъ беллетристовъ, къ этому привилегированному чувству, безъ котораго у сочинителей этой школы не обходился ни одинъ романъ, ни одна драма, даже ни одинъ водевиль самого любочнаго издѣлія, какъ

и до сихъ поръ у московскихъ купеческихъ сынковъ не обходится безъ любовныхъ похожденій ни одинъ трактирный подвигъ, совершаемый по почамъ, вдали отъ родительской кровли... Говоря о Тургеневѣ мы увидимъ, далеко ли ушли эти романисты психологи отъ романистовъ-метафизиковъ. Теперь достаточно сказать, что и тѣ и другіе съ одинаковою щедростію надѣляются «любовнымъ богатствомъ» все классы и сословія русской имперіи, безкорыстно отрѣшаются на этотъ разъ отъ дворянскихъ привилегій. Тургеневскіе «пейзажи» и Марко-Вовческія «пейзанки», по части любви, безъ труда выдержатъ конкуренцію съ «добродѣтельными швейками» и башмачниками гг. Некрасова и Станицкаго. Читая все эти безконечныя славословія любви, самыя разнообразныя ея варіанціи, можно подумать, что мы, и въправду, живемъ въ какой-то Аркадіи, гдѣ любовь надъ всемъ царить. А между тѣмъ, что же оказывается въ дѣйствительности? Читайте наши судебныя хроники, разверните уголовную лѣтопись «добраго стараго времени», загляните за ширмы семейной жизни прошлой эпохи, и укажите намъ на этихъ идеальныхъ героевъ, готовыхъ изъ-за любви жертвовать самою жизнью. И, конечно, чѣмъ дальше будемъ мы отодвигаться въ глубь крѣпостного права, тѣмъ менѣе шансовъ на то, чтобы встрѣтиться съ аркадскими пастушками и буколическими сценами, въ родѣ певинной швей, ожидающей въ свои объятія странствующаго рыцаря съ Петербургской стороны... А между тѣмъ, тогда-то именно съ особенною неумоимостью и воспѣвалась въ нашей литературѣ «чистая любовь». Тотъ же фактъ, какъ извѣстно, повторяется и въ литературѣ другихъ народовъ. Въ средніе вѣка поэты и рыцари идеализовали любовь самымъ неумѣреннымъ образомъ, а жизнь съ циническимъ смѣхомъ топтала ее въ грязь. Не имѣемъ ли мы права заключить отсюда, что положительные идеалы беллетристовъ отражаютъ въ себѣ реальную дѣйствительность не въ настоящемъ ея видѣ, а въ обратномъ? Не дополняетъ ли болѣзненно-настроенная фантазія своими призраками того, чего именно недостаетъ въ дѣйствительной жизни? Мнѣ кажется, что эта мысль не лишена справедливости не только съ чисто-исторической, но и съ психологической точки зрѣнія. Сытый не мечтаетъ о хлѣбѣ, любимый и любящій о любви. Только человѣкъ голодный способенъ увлекаться кускомъ хлѣба; только люди, мало любящіе и мало любимые видятъ въ любви главное украшеніе и назначеніе человеческой жизни.

Любовь, какъ и вообще все гуманнаго и высоко-развитыя чувства, не падаетъ на насъ съ неба; она является, какъ продуктъ высокаго умственнаго развитія, общей жизненной гармоніи и тѣхъ общественныхъ условий, которыми такъ мало отличалось крѣпостное стойло. Читатель скажетъ, что все это старыя и тривиальныя истины; это правда. Но когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ общества, съ точки зрѣнія его литературныхъ идеаловъ, то эти старыя истины обыкновенно забываются. Мы всегда бываемъ склоны видѣть въ литературѣ и въ особенности въ беллетристикѣ *прямое отраженіе* общества; мы всегда готовы признать то общество болѣе нравственнымъ. беллетристика котораго проникнута нравственными сентенціями, наполнена нравственными героями; мы ужасаемся безнравственности того общества, въ которомъ беллетристика не устаетъ купаться въ грязныхъ водахъ цинизма и полового разврата. Напримѣръ, мы навпко думаемъ, что Золя, Флоберы, Дрозы свидѣтельствуютъ о безнравственности французскаго общества, а чопорная мораль англійскихъ моралистовъ есть несомнѣнный признакъ крѣпости нравственныхъ устоевъ англійскаго «мѣщанства» и сельскаго «джентри». А между тѣмъ, съ точки зрѣнія «тривиальныхъ истинъ», мы должны бы были дѣлать совершенно обратныя заключенія: чего беллетристика не идеализуетъ, того, значить, имѣется въ обществѣ въ достаточномъ количествѣ, а то, что она идеализуетъ, въ томъ значить, чувствуется большой недостатокъ. Разъ вы утвердились на этой точкѣ зрѣнія, вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній будете знать, какъ нужно смотрѣть на дѣйствительныхъ людей, на реальныя отношенія того общества, въ которомъ могутъ появляться романы, подобные «Тремъ странамъ свѣта».

\* \* \*

\*) Въ нолбрьской книжкѣ «Дѣла» нѣкоторый, впрочемъ, талантливый критикъ, стремится провести мысль и поддерживаетъ свои увѣренія относительно художественной несостоятельности писателей сороковыхъ годовъ — чѣмъ бы вы думали? — разборомъ романа «Три Страны Свѣта». Критикъ беретъ это забытое произведеніе въ качествѣ лучшаго представителя романовъ «старой беллетристики» изъ категоріи бьющихъ на внѣшніе эффекты. Разобравъ

\*) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1872 г., № 352 (ст. 7).

пошлость содержанія и пошлость эффектов этого романа, критикъ приходитъ къ тому заключенію, что въ современной беллетристикѣ даже такой убогой писатель, какъ г. Всеволодъ Крестовскій, стоитъ несравненно выше авторовъ «Трехъ Страшъ Свѣта». И въ его вымыслахъ, принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ бездарнѣйшей фантазіи, больше правдивости, больше жизни и рельефности, чѣмъ въ нелѣпныхъ сказкахъ компаніи, сочинившей «Три Страны Свѣта». Все это можетъ быть и справедливо, но все это въ то же время отнюдь не доказываетъ, что современная беллетристика и современные беллетристы стоятъ выше талантовъ сороковыхъ годовъ. Судить старую беллестристику по «Тремъ Странамъ Свѣта» не подобаетъ потому, что этотъ романъ исключительнаго характера, написанный съ особыми цѣлями и по особеннымъ обстоятельствамъ. Время, когда г. Некрасовъ, въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, печатали свое длинное и эффектное произведеніе, было однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ журналистики. Тогда журналамъ приходилось бороться не съ одними только внѣшними препятствіями, но и съ равнодушіемъ большинства общества къ умственнымъ интересамъ, къ чтенію порядочныхъ книгъ. Общество только въ своемъ образованномъ меньшинствѣ считало интересы литературы и мысли достойными вниманія: остальная масса не хотѣла о нихъ ничего знать, не хотѣла оцѣнивать той тяжелой борьбы, какую приходилось выдерживать помянутымъ интересамъ съ различными темными силами. не желала поддерживать журналистику въ этой благородной борьбѣ. Между тѣмъ образованное меньшинство можно было въ то время считать десятками, пожалуй сотнями, но ужъ никакъ не болѣе. Журналистикѣ приходилось искать помощи въ массѣ неразвитой, съ грубыми вкусами и инстинктами. Для пріобрѣтенія этой помощи журналистика и должна была поневолѣ прибѣгнуть къ сочиненію и печатанію романовъ въ родѣ «Трехъ Страшъ Свѣта». Такіе романы писались нарочно для чтенія массы, въ нихъ намѣренно вводились грубые и банальные эффекты, чистая внѣшняя интересность содержанія, прописанная мораль и прописанная тенденція. Болѣе тонкимъ искусствомъ, менѣе декоративной живописью, масса не могла бы завлечься; она отвращалась отъ изысканныхъ яствъ и бросалась съ своимъ грубымъ аппетитомъ на кушанья, приправленные разными пряностями и всякими гарнирами. Благодаря изготовленію этихъ грубыхъ кушаній, журналы кой-какъ могли существовать, имѣли матеріальную поддержку



въ публикѣ, и въ то же время имѣли возможность, вмѣстѣ съ грубыми блюдами, давать и другія, болѣе здоровыя и питательныя, болѣе тонкія. Лучшіе журналы сороковыхъ годовъ вынуждены были прибѣгать къ такой беллетристикѣ для заохочиванія массы къ чтенію. «Отечественныя Записки» при Вѣлинскомъ печатали въ переводѣ романы, въ родѣ «Королевы Марго», «Графини Монсоро», «Друзья Діанъ» и т. п. Конечно, печатаніе подобныхъ «завлекательныхъ», но пустыхъ произведеній искусства было нѣкоторымъ грѣхомъ со стороны журналистики; но что же было дѣлать, если это былъ невольный грѣхъ, если необходимость вынуждала къ этому журналы, если правы публики требовали этого. Можно пожалѣть о жалкомъ положеніи тогдашней журналистики, но не слѣдуетъ порицать ее съ азартомъ за невѣщныя, вызванныя тяжелымъ положеніемъ, уловки. Особенно не слѣдуетъ порицать теперь, когда уже этотъ темный періодъ литературы можно судить съ исторической точки зрѣнія.

А между тѣмъ, критикъ «Дѣла» обнаруживаетъ именно такой азартъ въ порицаніи «Трехъ Странъ Свѣта». Этотъ несчастный, вынужденный необходимостью романъ, который писался (по крайней мѣрѣ однимъ изъ его авторовъ) почти въ шутку, къ которому, если не ошибаюсь, кромѣ гг. Некрасова и Станицкаго, прилагали мѣстами руку и другіе литераторы, — этотъ романъ преслѣдуется критикомъ какъ будто какое нибудь серьезное произведение. Критикъ разбираетъ въ романѣ типы, анализируетъ его идею, его мораль, приемы творчества авторовъ, и все это съ цѣлію доказать, что прежде писались романы хуже, чѣмъ теперь. Какъ я думаю, смѣется если не г. Станицкій, то г. Некрасовъ, читалъ этотъ серьезный анализъ и припоминая, ради чего и какими беллетристическими средствами создавался этотъ романъ! Но смѣхъ смѣхомъ, а съ другой стороны, вѣроятно, г. Некрасову и прискорбно, что его серьезно корятъ въ наши дни за вынужденное сочинительство завлекательныхъ эпизодовъ добраго стараго времени. Впрочемъ, г. Некрасовъ можетъ утѣшиться: публика знаетъ, что за «Три Страны Свѣта» онъ не порицанія достоинъ; публика знаетъ, что этимъ романомъ онъ въ свое время поддерживалъ интересъ къ «Современнику». «Три Страны Свѣта» очень читались массою: это лучшая похвала роману, написанному исключительно для процесса чтенія.

Не совсѣмъ справедливо также обвинять критикъ «Дѣла» г. Некрасова въ томъ, что онъ добровольно реставрируетъ теперь свой

романъ, сознавая надобность такой реставраціи. Если бъ г. Некрасовъ написалъ «Три Страны Свѣта» одинъ, тогда бы теперешнее изданіе романа пришлось бы отнести вполнѣ на его счетъ. Но вѣдь романъ написанъ въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, стало бытъ его теперешняя реставрація зависѣла не отъ одного г. Некрасова. Можетъ быть, г. Некрасовъ вовсе не желалъ видѣть новое изданіе своего забытаго произведенія, но принужденъ былъ согласиться на таковое въ виду желанія г. Станицкаго. Это предположеніе, весьма вѣроятное, во всякомъ случаѣ должно принимать во вниманіе при оцѣнкѣ вопроса, насколько виноваты поэтъ нашихъ дней въ возобновленіи грѣховъ своей молодости? Не такъ давно была издана какимъ-то книгопродавцемъ нелѣпая сказка г. Некрасова «Баба-Яга», написанная во дни юности. Изданіе этой сказки было продано поэтомъ книгопродавцу въ сороковыхъ годахъ; но послѣдній въ наши дни воспользовался своимъ правомъ, спекулируя на извѣстность имени г. Некрасова. Съ неразборчивой точки зрѣнія критики «Дѣла», пожалуй и за эту «Бабу-Ягу» придется упрекать и порицать даровитаго поэта.

Критикъ «Дѣла» старается доказать, посредствомъ разбора «Трехъ Странъ Свѣта», что старые романы изъ категоріи тѣхъ, которые основываются на «страстяхъ и ужасахъ», были нелѣпы и писались хуже, чѣмъ новѣйшіе продукты беллетристики въ такомъ родѣ. Но на страницахъ самаго «Дѣла», въ ноябрьской книжкѣ и въ предшествовавшей ей, мы встрѣчаемъ необыкновенно яркое и наглядное доказательство противнаго: именно самоновѣйшій романъ г. Каразина «На далекихъ окраинахъ». Сравните этотъ романъ съ «Тремя Странами Свѣта», и вы сейчасъ же увидите, насколько прежнія беллетристическія «страсти и ужасы», писанные ради необходимости, чуть ли не шутя, выше теперешнихъ «страстей и ужасовъ», сочиняемыхъ сои amore. Мотивы различныхъ романическихъ эффектовъ «Трехъ Странъ Свѣта», конечно, пошлы, избиты неправдоподобны; но нельзя не сознаться, что этими мотивами авторы пользуются ловко, съ полнымъ пониманіемъ беллетристическаго дѣла, съ знаніемъ тѣхъ предѣловъ, до которыхъ слѣдуетъ доводить банальные эффекты. Избитую фабулу романа гг. Некрасовъ и Станицкій умѣютъ провести черезъ цѣлыя восемь частей такимъ образомъ, что вѣншій интересъ разсказа у нихъ ослабѣваетъ рѣдко. Картины ихъ романа, конечно, малеванныя, вывѣсочныя, но онѣ

разнообразны, авторы имѣютъ достаточный запасъ фантазіи, чтобъ расцвѣтить ихъ пестрыми подробностями. Вообще говоря, хотя внутренній вымыселъ романа бѣденъ, но по вѣншнимъ подробностямъ онъ представляется достаточно ловкимъ: видно, что авторы владѣютъ рассказомъ, знаютъ, какъ его вести, имѣютъ точное понятіе о приѣмахъ беллетристическаго искусства. Возьмите же теперь рядомъ съ «Тремя Странами» три части романа г. Каразина. Первая часть, гдѣ авторъ завязываетъ интригу романа и фотографируетъ таикентское общество, написана не безъ ловкости, не безъ живости и съ талантомъ; но затѣмъ очевидно, что у автора беллетристическаго искусства только и хватило на завязку, да на фотографію нѣсколько видѣнныхъ въ дѣйствительности сценъ. Въ двухъ остальныхъ частяхъ «интрига» улетучивается совсѣмъ, веденіе рассказа становится не только неумѣлымъ, но просто наивнымъ, чтобъ не сказать больше, «ужасы и страсти» являются до такой степени дикіе, глупые, безобразные, что становится стыдно за дѣтскую неразвитость автора, способнаго серьезно заниматься такими вздорными эффектами. Цѣлыхъ двѣ части авторъ громоздитъ цѣлѣностью на нелѣпости; нить рассказа видимо потеряна имъ; онъ не умѣетъ, не можетъ справиться съ самыми обыкновенными эпизодами, не умѣетъ придать имъ должную мѣру, словомъ обнаруживаетъ полнѣйшее незнакоміе самыхъ обыкновенныхъ правилъ искусства. «Реализмъ» автора становится не только утрированнымъ, но просто возмутительнымъ: это реализмъ человѣка, которому самая отвратительныя подробности кажутся обыкновенными, даже привлекательными. Какой авторъ, мало-мальски знакомый съ законами искусства, можетъ допустить въ рассказѣ все эти «тухлыя» отрубленные головы, «адскіе пловы» изъ червей, копошащихся на трупѣ, выклеваемые птицами глаза у мертвой женщины, «потныхъ» таикентскихъ красавицъ, ищущихъ паразитовъ во время любовныхъ объясненій, и т. п. И всеми этими глупостями, доходящими до омерзительности, авторъ занимается съ особымъ удовольствіемъ, повторяетъ ихъ гдѣ только можетъ. Я приглашаю критика «Дѣла» поискать въ романахъ гг. Некрасова и Станицкаго подобной грубости и неразвитости въ пониманіи беллетристическихъ эффектовъ; у нихъ ничего подобнаго не найдется, потому что они для своего времени были довольно основательно знакомы съ законами искусства. А г. Каразинъ, очевидно, писатель первобытный, въ нѣкоторомъ родѣ

беллетристическій ташкентецъ. У него есть, конечно, талантъ, впрочемъ незначительный, и притомъ чисто — вяшай; по затѣмъ у него нѣтъ ничего: онъ немного больше настоящихъ ташкентцевъ знакомъ съ современною изящною литературой, не только иностранной, но даже отечественной: по крайней мѣрѣ такое впечатлѣніе производить грубость и неотесанность его творчества, дикость его ташкентскихъ фантазій. Вотъ уже про фантазію г. Каразина можно смѣло сказать то, что критикъ «Дѣла» говоритъ про фантазію г. Всеволода Крестовскаго.

Да, какъ тамъ ни толкуйте, а все-таки прежніе авторы относительно техники искусства куда какъ выше стояли теперешнихъ. Критикамъ нашихъ дней не упрекать бы ихъ слѣдовало съ этой стороны, а сообразивъ разстояніе ихъ времени отъ нашего, указать новѣйшимъ авторамъ, какъ мало прогрессируютъ они въ дѣлѣ изученія приѣмовъ литературнаго художества \*).

### 1873 г.

\*) Г. Некрасовъ — дарованіе своеобразное, самостоятельное, определенное, и однако же не на столько крупное, сильное и глубокое, чтобы породить рядъ послѣдователей, подобныхъ тѣмъ, какихъ имѣютъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Муза г. Некрасова, по оригинальности своихъ пѣсень, можетъ сравниться съ музами этихъ двухъ поэтовъ: подобно имъ, г. Некрасовъ внесъ въ русскую поэзію новыя, почти незнакомыя ей мотивы, новое содержаніе, даже отчасти и форму, отличную отъ прежнихъ формъ. Но только оригинальностью, а отнюдь не силою и глубиною содержанія, эта «муза мести и печали» приобрѣла себѣ значеніе въ родной литературѣ. Это содержаніе все исчерпывается такъ называемою «гражданскою скорбью». Гражданская скорбь есть продуктъ того мрачнаго и тяжелаго періода русской жизни, который имѣлъ въ нашемъ развитіи значеніе плотины, загородившей ея естественное теченіе. У поэтовъ

\*) Еще см. о Некрасовѣ за 1872 г. въ «Нивѣ», № 25, стр. 390 («Генералъ Литыгинъ»).

\*) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1873 г., № 27, (ст. Z.).

эпохи, предшествовавшей этому періоду, вы не отыщете гражданской скорби. Я уже не говорю о такихъ изъ нихъ, какъ Пушкинъ, миссія котораго заключалась совсѣмъ въ иное: въ созданіе настоящаго поэтическаго искусства въ общемъ, широкомъ смыслѣ. Но даже и у такихъ поэтовъ, какъ Рылѣевъ, прямо приписывавшій своей поэтической дѣятельности «гражданское» значеніе, вы не найдете гражданской скорби. Въ его одушевленныхъ стихахъ, особенно въ пьесахъ послѣдняго періода, повсюду прорывается гражданскій энтузіазмъ, порою протестъ; но стонъ отчаянія, стонъ скорби, стонъ «мести и печали» вы не отыщете у этого поэта. Это чувство скорби явилось потомъ: первые отголоски его слышались въ Лермонтовѣ, полное же выраженіе они нашли себѣ въ стихотвореніяхъ г. Некрасова.

Я не стану указывать, какія произведенія г. Некрасова являются наиболѣе выразительными, наиболѣе имѣющими значеніе съ этой стороны: во-первыхъ, это всѣмъ извѣстно; во-вторыхъ, это не относится къ предмету моей бесѣды. Взамѣнъ подобныхъ частныхъ указаній, я выскажу нѣсколько общихъ соображеній кой о чемъ inomъ. Мотивъ «гражданской скорби», составляющій сущность поэзіи г. Некрасова, могъ имѣть живое содержаніе, могъ вызывать энергическія и искреннія строфы у поэта и находить не менѣе искренній сочувственный отзывъ въ сердцахъ читателей до тѣхъ поръ, покуда наша жизнь находилась подъ тяжкими условіями, которыя сковывали ея естественное развитіе. Однимъ изъ этихъ условій, едва ли не самымъ существеннымъ, было крѣпостное право. Гражданская скорбь, гражданскіе стоны по преимуществу вызывались страданіями «родной земли» и народа отъ крѣпостной онеки, и въ специальномъ смыслѣ рушилась совершенно, а въ общемъ утратила въ значительной степени свой прежній характеръ, — съ того времени, когда наша жизнь, худо ли, хорошо ли, все-таки получила кой-какую возможность идти по пути развитія, когда плотина, ее сдерживавшая, прорвалась, — съ этого времени гражданскіе стоны потеряли свое прежнее великое значеніе. Одной гражданской скорби, однихъ протестующихъ стонъ стало недостаточно для того, чтобъ возбуждать и поддерживать жизненное движеніе. Поэзія — это отраженіе жизни, поэзія, которая именно только тогда и можетъ считаться живымъ источникомъ искусства, когда она отражаетъ въ себѣ насущное движеніе жизни, не могла уже ограничиться безконечнымъ повто-

реніемъ прежнихъ стонѣвъ и тоскованій. Гражданская скорбь, имѣвшая когда-то значеніе могучаго жизненнаго стимула, утратила свой прежній смыслъ, потому что обратилась въ неискреннее, изученное «плохое фиглярство», какъ довольно удачно выразился одинъ изъ самыхъ холодныхъ фигляровъ — подражателей поэзіи г. Некрасова. Для предупрежденія разныхъ намекающихъ комментаріевъ «молчалиниковъ» выдыхающагося радикализма, я долженъ здѣсь сдѣлать необходимую оговорку. Говоря о томъ, что въ наши дни такъ называемая гражданская скорбь утратила свое значеніе, я вовсе не желаю унижать это высокое чувство, или отрицать его, и вовсе не хочу этимъ сказать: дѣйствительность столь прекрасна и отрадна, что не можетъ вызывать никакой скорби, а одно лишь свѣтлое ликованіе. Я хочу сказать только одно: теперь съ однимъ этимъ чувствомъ, хотя бы и выражаемымъ въ краснорѣчивыхъ фразахъ и хорошо сдѣланныхъ стихахъ, нельзя заслужить титулъ гражданского писателя и поэта. Кромѣ скорбныхъ стонѣвъ, фразъ и стиховъ, даже отъ пѣвцовъ теперь требуется еще кое-что другое: требуется дѣло жизни, тождественное съ словомъ. Для поэта такое дѣло жизни можетъ реально выражаться хоть въ томъ, напримѣръ, что онъ будетъ слѣдить за развитіемъ и направленіемъ современнаго знанія, за ходомъ современныхъ общественныхъ идей, что онъ посвятитъ свою поэзію искреннему выраженію чувства, внушаемаго ему отрицательными или положительными явленіями дѣйствительности, а не либеральному лицедѣйству, искусственно подогрѣваемому затаенной мыслию: при теперешнемъ, молъ, плохомъ пониманіи истинной поэзіи, подобное лицедѣйство сойдетъ за настоящее горячее вдохновеніе...

Послѣ всего сказаннаго, становится отчасти понятнымъ, почему гражданская скорбь и гражданскіе порывы поэзіи г. Некрасова за послѣднее время являются совѣмъ не съ тѣмъ значеніемъ, какое они имѣли прежде. Несмотря на то, что поэтъ, повидимому поднимаетъ уровень своей поэзіи, несмотря на то, что онъ беретъ уже не только гражданскій, но даже архи-гражданскія темы, изъ этихъ темъ выходитъ «ничего или очень мало». Его гражданскіе стихи являются дѣланнми, вялыми и холодными; при всей своей опытности, при всей способности къ блестящимъ лирическимъ порывамъ, г. Некрасовъ никакъ не можетъ стать на высоту искренняго поэтическаго увлеченія и безпрестанно впадаетъ въ пошлость мысли и

выраженія, безпрестанно превращаетъ паюсъ и теплоту своего подгрѣтаго цизизма въ нѣчто дрябло-приторное и порою даже комическое.

Новая поэма г. Некрасова, по поводу которой я распростраиился о нашемъ поэтѣ, можетъ служить нагляднымъ подтвержденіемъ всего сказаннаго. Содержаніе поэмы, взятое авторомъ, самое благодарное: поэтъ задается намѣреніемъ воспѣть гражданское самопожертвованіе героини двадцать-пятаго года, память о которыхъ долго будетъ жить въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ и пробуждать добрыя чувства, говоря выраженіемъ Пушкина. Что можетъ быть счастливѣе подобной темы для поэта? Мотивы, данныя ему историческою дѣйствительностію, образы, представляемые ею, такъ рельефны и хороши, что ихъ не надо преукрашать даже поэтической фантазіей. Г. Некрасовъ понималъ это, и въ своихъ поэмахъ по возможности придерживается тѣхъ «матеріаловъ», которые даютъ ему мемуары и записки о подвигахъ нашихъ, можно сказать, первыхъ гражданокъ. Къ сожалѣнію, понималъ эту вещь г. Некрасовъ узко, и въ своемъ стремленіи сохранить фактическія черты подвиговъ и страданій героини двадцать пятаго года доходить до крайности. Онъ до того придерживается упомянутыхъ матеріаловъ, что послѣдняя его поэма написана даже въ формѣ записокъ кн. М. П. Волконской и смѣло могла бы быть напечатана въ «Русскомъ Архивѣ»; или «Русской Старинѣ», какъ образецъ стихотворныхъ мемуаровъ. Г. Семевскому и Бартеневу осталось бы только снабдить эти стихотворные мемуары многочисленными примѣчаніями, и будущій русскій историкъ могъ бы пользоваться ими, какъ пособіемъ въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о событіяхъ двадцать пятаго года.

Что же заставило г. Некрасова обратить свою поэзію на дѣло, подобное тому, какимъ занимались поэты прежнихъ временъ, перекладывавшіе въ стихи историческіе трактаты и географическія руководства? По всей вѣроятности, онъ занялся подобіемъ стихотворнаго переложенія записокъ, во-первыхъ, потому, что какъ я уже сказалъ, факты дѣйствительности, послужившіе матеріаломъ для его поэмы, плѣнили его своей гражданской обаятельностью; во-вторыхъ, потому, что онъ, чувствуя оскудѣніе своего творчества, хотѣлъ вознаградить его отсутствіемъ точности и правдой содержанія своей поэмы. Но въ томъ то и штука, что фактическая правда и правда поэтического творчества — двѣ вещи, имѣющія между собою соотно-

шеніе, но отнюдь не тождественныя. Иногда точное воспроизведеніе правды дѣйствительности бываетъ совершенно неумѣстно въ поэзіи и способно нарушать впечатлѣніе поэтической правды. Это очень легко пояснить примѣромъ. Положимъ, поэтъ изображаетъ какого-нибудь историческаго героя, увлекающаго «громовымъ словомъ» народную массу на великій «патріотическій подвигъ». Положимъ, изъ «подлинныхъ документовъ», извѣстно, что герой въ это время страдалъ насморкомъ и сопровождалъ свое «громовое слово» частымъ чиханіемъ, которое, однако, не воспрепятствовало ему увлечь толпу. Слѣдуетъ ли изъ этого, что поэтъ, задавшійся цѣлью воспѣть подвигъ героя, долженъ необходимо упоминать въ своихъ пламенныхъ строфахъ о помянутомъ насморкѣ и чиханіи? Не способна ли такая правда нарушить впечатлѣніе поэтической правды? Да что, впрочемъ, намъ выдумывать примѣры: мы можемъ позаимствовать ихъ прямо изъ поэмы г. Некрасова, имѣвшаго въ виду соединить документальную точность съ поэтическимъ творчествомъ. Вотъ одинъ изъ такихъ примѣровъ: поэтъ, желая перечислить всѣ тяжелыя случаи, которымъ подвергалась его героиня (княгиня В—ская) на пути въ Сибирь къ осужденному мужу, изображаетъ, между прочимъ, слѣдующее происшествіе:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей.  
Гора была страшно крутая,  
И я полетѣла съ кибиткой моей  
Съ высокой вершины Алтая.

Какое впечатлѣніе производитъ на читателя героиня, летящая кубаремъ съ «вершины Алтая»? Безъ всякаго сомнѣнія, комическое. А между тѣмъ, поэтъ, конечно, желалъ произвести совершенно иное: онъ желалъ выставить страданія, вынесенныя молодой женщиной аристократическаго круга при совершеніи ею подвига самопожертвованія. И вотъ для большаго впечатлѣнія онъ вставляетъ въ свою поэму фактъ, весьма возможный и по всей вѣроятности имѣвшій мѣсто въ дѣйствительности, думая этимъ усилить впечатлѣніе читателя. Выходитъ, однако же, наоборотъ: подробности являются карикатурой, и въ душѣ впечатлительнаго читателя возбуждается досадное чувство на то, что поэтъ ставитъ благородный образъ въ карикатурное положеніе...



Вотъ еще, читатель, примѣръ документальнаго реализма и записочной поэзіи:

«Дорога безъ снѣгу — въ телѣгѣ! Сперва  
Телѣга меня занимала,  
Но векорѣ потомъ, ни жива, ни мертва,  
Я прелесть тѣмъ узнала.  
Узнала я голодъ на этомъ пути.  
Къ несчастью, мнѣ не сказали.  
Что тутъ ничею невозможно найти,  
Тутъ почти буряты держали.  
Говядину вялятъ на солнцѣ они,  
Да утѣются часомъ кирпичнымъ,  
И тотъ еще съ саломи! Господь сохрани,  
Попробовать вамъ непривычнымъ!  
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:  
Какой-то купецъ тороватый  
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ  
И въ честь мою праздникъ богатый  
Устроилъ... спасибо! Я рада была  
И вкуснымъ пельменямъ и бань...  
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала  
Въ гостиной его на диванъ...»

Такія подробности о бурятахъ, пьющихъ кирпичный чай съ саломъ, о пельменяхъ и бань, конечно, казались бы очень трогательными въ запискахъ княгини, но встрѣчать ихъ въ формѣ вялыхъ и пошловатыхъ стиховъ, встрѣчать ихъ въ поэмѣ, задавшей себѣ грандіозной цѣлью нарисовать образы русскихъ женщинъ-гражданокъ — воля ваша, это производитъ впечатлѣніе комическое. Такіе безвкусные стихи говорятъ очень ясно, что у поэта изсякло творчество, и онъ ищетъ себѣ подспорья для него въ «подлинныхъ документахъ», вяло перелагая ихъ въ вялые стихи. И подобными-то вялыми, вымученными стихами наполнена большая часть новой поэмы г. Некрасова. Даже тамъ, гдѣ поэтъ, повидимому, начинаетъ нѣсколько одушевляться, гдѣ у него вырываются строки искренней поэзіи, онъ почти постоянно портитъ послѣднія какими-нибудь совершенно неожиданными «записочными» подробностями и банальными выходками и выраженіями. Вотъ примѣры:

Княгиня начинаетъ рассказъ о томъ, какъ она боролась съ настоятельными семьей, умолявшей ее не уѣзжать къ мужу:

«Теперь опишу вамъ подробно, друзья,  
Мою роковую побѣду...»

Княгиня рассказывает о своемъ воспитаніи:

«Могла говорить я почти обо всемъ,  
Я музыку знала, я пѣла,  
Я даже отлично скакала верхомъ,  
Но думать совсѣмъ не умѣла...»

Княгиня раздумываетъ о томъ, что ей долѣе ѣхать за мужемъ въ ссылку:

«О, лучше въ могилу мнѣ живо лечь,  
Чѣмъ мужа лишитъ утѣшенья  
И въ будущемъ сынѣ презрѣнье навлечь...  
*Нѣтъ, нѣтъ! не хочу я презрѣнья!...*  
А можетъ случиться — подумать боюсь!  
Я *перваго* мужа забуду,  
Условіямъ новой семьи подчинюсь, и проч.

Подобными банальностями, напоминающими діалоги героинь Александринскаго театра, переполнена поэма въ изобиліи, и онѣ дерутъ ухо читателя, чуткаго къ настоящей поэзіи и знакомаго съ ней хотя бы по нѣкоторымъ прежнимъ пьесамъ нашего поэта. Эти банальности до такой степени овладѣли поэзіей г. Некрасова, что даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ его поэмы неумолимо суются между строками. Лучшимъ мѣстомъ поэмы, по моему мнѣнію, должна быть признана сцена свиданія княгини съ мужемъ въ рудникѣ. Но и тутъ начало сцены и конецъ попорчены пошловатыми стихами и фальшивыми, натянутыми эффектами. Княгиня, преодолевъ всякія препятствія, пробралась въ подземелье рудника. Ее окружили сыльные. Но мужа она еще не видитъ. Кто-то восклицаетъ, что онъ идетъ:

Я чуть не упала, рванувшись впередъ —  
Канавы была передъ нами.  
— «Потише, потише! Ужели затѣмъ  
Вы тысячи верстъ *пролетѣли*,  
Сказалъ Т—кой, чтобъ на горе намъ всемъ  
Въ канавѣ погибнуть — у цѣли».  
И за руку крѣпко меня онъ держалъ:  
«Чтобъ было, когда бъ вы упали?»

Изъ чему тутъ эта канавы, вмѣстѣ съ рѣчами Т—каго, такъ декоративно портящая «торжественность минуты»? По всей вѣроятности, поэтъ пустилъ эту канаву потому, что онъ вычиталъ ее въ какихъ

нибудь запискахъ, или слышала устный разсказъ о томъ, что въ дѣйствительности княгиня чуть не упала въ канаву. Желая быть точнымъ и правдивымъ, г. Некрасовъ и канаву вставилъ въ поему, держась словъ, документовъ, какъ истинный реалистъ. И однако же, этимъ документальнымъ реализмомъ онъ значительно испортилъ поэтическое впечатлѣніе сцены.

Слѣдующія затѣмъ стихи очень хороши и удались вполне:

Сергѣй торопился, но тихо шагаль.  
Оковы уныло звучали.  
Предъ нимъ разступались, молчанье храня.  
Рабочіе люди и стража...  
И вотъ онъ увидѣлъ, увидѣлъ меня!  
И руки простеръ ко мнѣ: «Маша!»  
И сталъ, обезсиленный словно, вдаль...  
Два ссыльныхъ его поддержали.  
По блѣднымъ щекамъ его слезы текли.  
Простертыя руки дрожали...  
Душѣ моей милого голоса звукъ  
Мгновенно послалъ обновленіе,  
Отраду, надежду, забвеніе мукъ,  
Отцовской угрозы забвеніе!  
И съ крикомъ: «иду!» я бѣжала бѣгомъ.  
Рванувъ неожиданно руку,  
По узкой доскѣ надъ зіяющимъ рвомъ  
Навстрѣчу призывному звуку...  
«Иду»!... Посылало мнѣ ласку свою  
Улыбкой лицо непитое...  
И я подбѣжала... И душу мою  
Наполнило чувство святое.  
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,  
Услышавъ ужасные звуки,  
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ,  
Вполнѣ поняла его муки,  
И силу его... и готовность страдать!...  
Невольно предъ нимъ я склонилась  
Колѣни, прежде чѣмъ мужа обнять,  
Оковы къ губамъ приложила!...

Да, эти стихи напоминаютъ прежняго г. Некрасова, исключая, впрочемъ, послѣднихъ строкъ, гдѣ пригналъ, какъ кажется, фальшивый гражданскій эффектъ — поцѣлуй оковъ. Я не знаю, основалъ ли этотъ эффектъ г. Некрасовъ на подлинныхъ документахъ или, что вѣрнѣе, создать его собственною фантазіей для вящаго

усиленія цивизма, по, во всякомъ случаѣ, этотъ эффектъ въ поэмѣ выходитъ психологически невозможнымъ: онъ не мотивированъ характеромъ героини. Княгиня, по объясненію поэта, пошла на ка-торгу за мужемъ не изъ сочувствія тѣмъ идеямъ, которыя привели его туда: она даже не знала о заговорѣ, объ участіи въ немъ мужа, она уже послѣ его ареста смутно догадалась, какими побужде-ніями руководился онъ и за какія идеи принялъ на себя крестъ страданія. Нѣтъ, она повлеклась въ рудники за мужемъ, вѣрная интимному чувству, вѣрная личному долгу жены и подруги, для которой была бы невыносима мысль, что онъ, «узинькъ усталый въ тюремномъ углу, терзается лютой думой, одинъ, безъ опоры». Вотъ мотивъ, увлекшій княгиню на подвигъ самопожертвованія и въ дѣйствительности и въ поэмѣ. Спрашивается: откуда же этотъ внезапный цивическій порывъ, это цѣлованіе оковъ, это предпочте-ніе символа политическаго страданія самому страдальцу? Что-нибудь одно: или этого не было въ дѣйствительности и придумано ради противохудожественной манеры г. Некрасова ставить точки падъ і тамъ, гдѣ этого не требуется; или же — если такой поцѣлуй оковъ имѣетъ фактическое основаніе — г. Некрасовъ не вѣрно понялъ весь характеръ героини своей поэмы и не вѣрно изобразилъ ея борьбу съ семьей, ея думы, все ея развитіе, очерченное въ первыхъ гла-вахъ, словомъ — не свелъ конца съ началомъ.

Нельзя также безъ досады читать заключительные стихи поэмы: они показываютъ, что г. Некрасовъ утратилъ вкусъ и способность критически отнестись къ самому себѣ. Нарисовавъ предыдущую патетическую сцену, притянувъ за волосы совершенно ненужный эффектъ, поэтъ спѣшитъ внезапной пошлостью огорчить читателя и кончасть комически:

«По-русски меня офицеръ обругалъ,  
Внизу ожидавшій въ тревогъ,  
А сверху мнѣ мужъ по-французски сказалъ:  
«Увидимся, Маша, — въ острогѣ».

Общее заключеніе о новомъ произведеніи г. Некрасова должно быть такое: поэма представляетъ истинно-поэтическихъ лишь два-три мѣста, да и то не вполне выдержанныхъ. Таковы, по-моему: сцена встрѣчи княгини съ мужемъ въ крѣпости, сцена изъ юности княгини съ Пушкинымъ, нѣсколько стиховъ обращенія княгини

къ народу, и затѣмъ встрѣча съ мужемъ въ рудникахъ. Все остальное — наборъ вялыхъ и банальныхъ стиховъ, которые ниже таланта г. Некрасова.

\* \* \*

\*) Давно уже не появлялось въ отечественной поэзіи такого серьезнаго симпатичнаго и глубоко гуманнаго произведенія какъ *Русскія женщины* Некрасова. Наша критика поросла такою плѣсенью злобы, мелкой зависти, грубаго непониманія и чудовищнаго кумовства, что даже эта лучшая пѣснь нашего лучшаго современнаго поэта вызвала тупое непониманіе и злобное глумленіе одной изъ наиболѣе распространенныхъ нашихъ газетъ. «Петербургскія Вѣдомости» обрушились на поэму Некрасова и, выражаясь литературнымъ жаргономъ нашей маленькой прессы, продернули ее на славу. Недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу и полнѣйшее отсутствіе способности чувствовать и понимать ширину и высоту замысла поэта, довели журнальнаго обозрѣвателя этой газеты г. Z., до неслыханной дерзости. Не довольствуясь тѣмъ, что съ рѣдкой ловкостью (въ этомъ ему надо отдать справедливость) подтасовалъ онъ самыя слабыя мѣста поэмы, почти совершенно пропадаящія въ грандіозномъ впечатлѣніи цѣлаго, добросовѣстный критикъ рѣшается еще потѣшать своимъ гаерствомъ публику и импровизуетъ въ заключеніе безмысленныя стишонки, якобы пародію на *Русскихъ женщинъ*. Жалкое кривлянье г. Z. къ несчастью не только смѣшно, но и положительно вредно для подрастающей русской мысли, такъ какъ стремится пріучить своихъ читателей къ безмысленному скептицизму, не опирающемуся ни на какія разумныя основы. А вѣдь суть излитой г. Z. на Некрасова злобы ясна какъ пельзя болѣе: *Русскія женщины* напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ», съ однимъ изъ сотрудниковъ которыхъ, г. Михайловскимъ, фельетонистъ «Петербургскихъ Вѣдомостей» велъ самую неприличную, даже не полемику, а просто руготню, — поэтому по присущей, этой газетѣ теоріи, слѣдуетъ ругать все, что ни попадетъ въ этотъ журналъ. Но отвернемся скорѣе отъ этого грязнаго, недоразвитаго мірка, вѣчно норовящаго третировать всякій предметъ съ кондачка, и возвратимся къ поэмѣ Некрасова.

\*) „Новое Время“ 1873 г., № 37, (ст. А. С.).



Ты любишь несчастнаго. русскій народъ,  
Страданія насъ породили...

Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки.  
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!

Человѣкъ, не съ совершенно зачерствѣвшимъ сердцемъ, невольно склоняетъ голову въ знакъ благоговѣнія, и слезы душатъ его при чтеніи сцены перваго свиданія жены съ каторжникомъ мужемъ. Въ этихъ дивныхъ, исполненныхъ глубокой жизненной правды звукахъ, такъ и вылилась вся душа поэта скорби и страданій. Не можемъ удержаться, чтобы не привести выдержки изъ этой потрясающей душу сцены.

Душѣ моею милого голоса звукъ  
Мгновенно послалъ обновленіе,  
Отраду, надежду, забвеніе мукъ.  
Отцовской угрозы забвеніе.  
И съ крикомъ «иду!» я бѣжала бѣгомъ.  
Рванувъ неожиданно руку.  
По узкой доскѣ надъ зіяющимъ рвомъ  
Навстрѣчу призывному звуку...  
«Иду!» Посылало мнѣ ласку свою  
Улыбкой лицо пенитое....  
И я побѣжала.... И душу мою  
Наполнило чувство святое.  
И только теперь, въ рудникъ роковымъ.  
Услышавъ ужасные звуки,  
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ.  
Вполнѣ поняла его муки.  
И силу его и готовность страдать!  
Невольно передъ нимъ я склонила  
Колѣни. — и прежде чѣмъ мужа обнять.  
Оковы къ губамъ приложила!...

За эти строки поэту отпущаются все его ошибки и заблужденія. — кто умѣетъ такъ глубоко чувствовать, тотъ никогда не умретъ въ благодарной памяти потомства!... Искреннее, глубокое спасибо говоримъ мы г. Некрасову отъ имени читающей публики за его прекрасную поэму, слабыя стороны которой (не выработанный, порой вульгарный стихъ и растянутасть и некрасивые обороты) исчезаютъ совершенно въ стройной гармоничности цѣлаго.

\*) Помните ли вы, читатель, то эпидемическое стихосочиненіе, которое настало послѣ Пушкина, когда

... смѣшались шапки,  
И полѣзли изъ щелей  
Мошки да букашки:

разныя Трипунныя, Красовы, Тимофеевы и проч., которые цѣлыми ворохами своихъ стиховъ наполняли тогдашнюю «Библіотеку для чтенія» Сеньковского и альманахи разныхъ Владиславлевыхъ, Городиетскихъ, Виртовыхъ и проч. Въ стихахъ воспѣвались все больше перси, да косы, да блескъ очей, въ родѣ:

Черны очи, черны очи  
Изъ-подъ бархата рѣсницъ.

Воспѣвались певинныя птички, синички, лисички, и все это воспѣвалось съ такой самодовольной бездарностью, что пѣвцы скоро веѣмъ надоѣли: но не поняли, чѣмъ именно надоѣли, ибо были гораздо невиннѣе воспѣваемыхъ ими птичекъ, синичекъ и лисичекъ... Они не догадались, что ихъ неуспѣхъ зависитъ просто отъ недостатка таланта, а не отъ перемѣны вкусовъ публики. Иные изъ нихъ оставили свое поэтическое поприще, другіе перемѣнили темы своихъ пѣсень: вмѣсто птичекъ, синичекъ и лисичекъ начали воспѣвать разныя гражданскія чувства: великодушіе, самоотверженіе, тоску «голодъ, холодъ, сырая жлища». Остальные же поэты оставиися на сценѣ, вломились въ амбицію и задались какими-то претензіями, такъ что даже самъ г. Полонскій нашелъ теперь своего невиннаго Пегаса совершенно негоднымъ для ѣзды, и въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи описываетъ, какъ онъ хотѣлъ промѣнять его на клячу: да никто за Пегаса и клячи не далъ. Вотъ что пишетъ г. Полонскій: встрѣтилъ онъ мужичонка, идущаго за сохой, которую тащила кляча.

— Дядя, — сказалъ г. Полонскій, — не промѣняешь ли клячу?

И за нее тебѣ дамъ славную штуку — Пегаса.

Конь — что не въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать — конь крылатый.

Онъ приведенъ къ намъ изъ Греціи черезъ Европу. Слыхалъ ли Ты объ Европѣ хоть что-нибудь?...



— Нѣтъ. не слыхалъ.

— «Ну такъ вѣрь мнѣ,

Есть, дядя, эдакій конь...»

И мужикъ съ педовѣрьемъ осканилъ

Бѣлые зубы. И связали меня,

И посадили въ колодки, и повели къ становому:

Будто хотѣлъ я надуть мужика,

Будто за лошадь, которая можетъ пахать и работать.

Я предлагалъ нкуда негодящую тварь:

Пегаса. — Не сумасшедшій ли я? говорили...

Эти поэтики, развѣзжающіе на клячахъ — Пегасахъ или ходящіе подъ-руку съ музами, давно уже стали смѣшными, а при сравненіи съ такимъ колосомъ, какъ г. Некрасовъ, такими маленькими и такими жалкими, что просто является позывъ разсмотрѣть ихъ таланты подъ микроскопомъ, — хоть бы ненадолго и призрачно увеличались, а то ужъ очень больно малы.

Г. Некрасова считаютъ вообще тенденціознымъ поэтомъ, но едва ли это справедливо, по крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, будто тенденціозность помогаетъ успѣху его произведеній. Кто нынѣ изъ нашихъ стихотворцевъ не тенденціозенъ? Минаевъ тенденціозенъ, Буренинъ тенденціозенъ, Омелевскій тенденціозенъ, Плещеевъ тенденціозенъ... Они даже, пожалуй, будутъ тенденціознѣе г. Некрасова, такъ какъ, за недостаткомъ поэтическихъ образовъ, имъ постоянно приходится перекладывать въ стихи передовыя статьи либеральныхъ газетъ и прозу, то сотоварищей своихъ по журналу, то прозу публицистовъ другихъ журналовъ, если поэтъ не свѣдущъ въ иностранныхъ языкахъ, и такимъ образомъ лишень возможности пользоваться матеріалами изъ перваго источника. Отчего же, спрашивается, эти тенденціозные поэты не имѣютъ успѣха такого, какой пріобрѣлъ г. Некрасовъ? Просто по недостатку таланта, — и г. де-Пуле напрасно увѣрялъ насъ въ «Петербург. Вѣдомостяхъ», что русскую литературу дотла сгубила тенденціозность; остался только одинъ гениальный писатель: г. Буренинъ, тенденціозность котораго относится къ его таланту такъ же, какъ миллионъ къ единицѣ!

По нашему скромному разсужденію, успѣхъ г. Некрасова вовсе не зависитъ отъ его тенденціозности или безтенденціозности, а просто отъ могучей силы его дарованія — и исключительно только отъ этого.

Въ первой книжкѣ «Отечественныхъ записокъ» напечатана поэма г. Некрасова — «Русскія женщины», уже вовсе не пьющая никакой претензіи на тенденціозность. Это превосходный поэтический и простой рассказъ бабушки внукамъ о великихъ подвигахъ своей жизни. Чтобы познакомить читателя съ новымъ произведеніемъ нашего великаго поэта, мы, конечно, должны прибѣгнуть къ выпискамъ. за что и просимъ напередъ извиненія у многоуважаемаго автора:.

(Далѣе слѣдуютъ выписки изъ поэмы, выражающія почти все содержаніе ея).

Читатели могутъ замѣтить нѣкоторыя ошибки г. Некрасова въ подробностяхъ, впрочемъ, вовсе не измѣняющія существа дѣла. Такъ, напримѣръ, авторъ заставляетъ свою героиню свалиться съ вершины Алтая, гдѣ она не могла проѣзжать, такъ какъ Алтайскія горы лежатъ чуть ли не на тысячу верстъ въ сторону отъ сибирскаго московскаго тракта. Точно такъ же, какъ героиня не могла встрѣтить какого бы то ни было каравана съ серебромъ или золотомъ, идущаго изъ *Нерчинска*. Всѣ такіе караваны до послѣдняго времени идутъ исключительно изъ Барнаула, гдѣ сплавляется и пробирается все добываемое въ Сибири серебро и золото. Но все это — повторяемъ — такія ничтожныя частности, которыя нисколько не вредятъ новому прекрасному произведенію г. Некрасова. Дай Богъ, чтобы только именно такія ошибки дѣлали всѣ наши поэты!\*)

\* \* \*

\*\*) Г. Некрасовъ украсилъ январскую книжку «Отечеств. Записокъ» новой поэмой, составляющей вторую часть предпринятой имъ серіи поэтическихъ сказаній, подъ заглавіемъ «Русскія женщины». Какъ кажется, въ этихъ поэмахъ г. Некрасовъ желаетъ передать въ стихахъ горькую повѣсть о самоотверженіи и страданіяхъ русскихъ женъ, раздѣлившихъ участь своихъ мужей, сдѣлавшихся жертвой извѣстной политической катастрофы. Такая тема должна

\*) Редакція «Новостей» сопровождаетъ приведенную статью слѣдующими словами: «Въ современной литературѣ, столь бѣдной истинно-художественными произведеніями, появленіе такой вещи, какъ поэма П. А. Некрасова, составляетъ эпоху. Мы рѣшаемся посвятить труду гениальнаго поэта этотъ небольшой одѣльный фельетонъ, помимо общаго отчета о новостяхъ русской литературы».

\*\*) «Русскій Міръ» 1873 г., № 46 (ст. А. О.).

была заранѣе осудить трудъ поэта на значительное однообразіе. Повѣсть каждой героини одна и та же: росла она въ богатомъ родительскомъ домѣ, вышла замужъ, мужа посадили въ крѣпость, сослали въ Сибирь, она поѣхала вслѣдъ за нимъ и встрѣтилась съ нимъ въ острогѣ. И г. Некрасовъ, передавъ эту исторію въ первой поэмѣ, съ точностью повторяетъ ее во второй. Болѣе, впрочемъ, ему и дѣлать нечего, такъ какъ фактъ въ обѣихъ поэмахъ одинъ и тотъ же, а расцвѣчивать историческій фактъ цвѣтами собственной фантазіи въ настоящемъ случаѣ неудобно. Да и поэтическая фантазія г. Некрасова въ послѣднее время не обнаруживаетъ силы, замѣчавшейся въ его прежнихъ произведеніяхъ. Очевидно, все то, что намъ могъ сказать поэтъ, уже сказано, и содержаніе его истощилось. Петербургская журналистика многіе годы усердно занималась тѣмъ, что хорошила поочередно гг. Тургенева, Гончарова, Писемскаго, тогда какъ съ гораздо большею основательностію слѣдовало бы провѣсть *de profundis* поэтическому таланту г. Некрасова. Гражданскіе мотивы, пѣкогда зажигавшіе сердца поклонниковъ этого самаго петербургскаго изъ всѣхъ петербургскихъ поэтовъ, отзывались и не производятъ больше впечатлѣнія. Поэтъ очевидно самъ чувствуетъ, что безъ новыхъ мотивовъ продолжать поэтической дѣятельности нельзя, но не находитъ ихъ въ душѣ своей, и потому обращается къ историческому факту и ограничиваетъ свою задачу переложеніемъ въ стихи повѣвшихъ ему въ руки фамильныхъ записокъ. Что жъ, и такая задача при искусномъ выполненіи могла бы оказаться весьма благодарною, потому что историческій фактъ самъ по себѣ полонъ глубокаго содержанія. Но такова вялость пыллившей музы г. Некрасова, что, несмотря на богатство темы, на драматическое содержаніе факта, поэма его не производитъ никакого впечатлѣнія, или, лучше сказать, получаемое отъ нея впечатлѣніе совершенно двойственно: фактъ остается самъ по себѣ, не сливаясь съ поэзіей г. Некрасова, а все, что помимо этого факта принадлежитъ самому поэту, выходитъ до крайности деревяннo, перьяшливо и анти-поэтично. Только при совершенномъ отсутствіи поэтическаго чувства и вкуса можно писать напр., такіе стихи:

Теперь опишу вамъ подробно, друзья,  
Мою роковую (?) побѣду,  
Вся дружно и грозно возсталъ семья,  
Когда я сказала: я ѣду!

Читатель такъ и ждетъ тутъ рѣшмы: «къ обѣду», и дѣйствительно черезъ нѣсколько строкъ поэтъ варьируетъ это счастливое четверостишіе такимъ образомъ:

Когда собралнсь мы къ обѣду.  
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:  
На что ты рѣшилась? — Я вѣду!

Или вотъ, наприимѣръ, слѣдующіе вирши:

Училась я много; на трехъ языкахъ  
Читала. Замѣтна была я  
въ парадныхъ гостинныхъ, на свѣтскихъ (?) балахъ,  
*Некрасово танцаля, играя;*  
Могла говорить я почти обо всемъ.  
Я музыку знала, я пѣла.  
*И даже отлично скакала верхомъ и т. д.*

Съ деревянностью подчеркнутыхъ нами стиховъ можетъ сравниться только слѣдующая граціозная картинка, изображенная Богомъ въ такомъ четверостишіи:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей.  
Гора была страшно крутая.  
И я полетѣла съ кибиткой моей  
Съ высокой вершины Алтая!

Кто изъ читателей, послушавшись поэта и представивъ себѣ его фигуру въ нарисованныхъ имъ положеніяхъ, т. е. сначала отлично плавающей верхомъ, а потомъ летящую стремглавъ съ высокой вершины Алтая — кто не согласится, что историческій фактъ, историческое лицо весьма мало выиграли отъ прикосновенія къ нимъ Бога?

Г. Некрасовъ мѣстами какъ будто даже щеголяетъ особаго рода реализмомъ, заключающимся въ томъ, что если, напр., ему извѣстно, что въ такомъ-то городѣ героння его мылась въ банѣ, то онъ какъ и пишетъ, что княгиня сходила въ баню, а если гдѣ-нибудь ее напоили вонючимъ чаемъ съ саломъ, то такъ и пишетъ, что дочь моя пила княгиня чай съ саломъ. Какъ образецъ такого реализма, отчасти напоминающаго ташкентскіе романы г. Каразина, приведу слѣдующую выдержку:

Дорога безъ снѣгу — въ телѣгѣ! Сперва  
Телѣга меня занимала.  
Но вскорѣ потомъ, ни жива, ни мертва.  
*Я прелесть телѣги узнала.*  
Узнала и голодъ на этомъ пути.  
Къ несчастью, мнѣ не сказали.  
Что тутъ ничего невозможно найти.  
Тутъ почту бурята держали.  
Говядину вялятъ на солнцѣ они  
Да грызутся чаемъ кирпичнымъ.  
*И томъ еще съ саломъ!* Господь сохрани  
Попробовать вамъ, непривычнымъ!  
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задала бѣда:  
Какой-то купецъ тороватый.  
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ  
И въ честь мою праздникъ богатый  
Устроилъ... Спасбо! я рада была  
И вкуснымъ пельменямъ, и бань...  
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала  
Въ гостиниой его, на диванѣ...

Неужели г. Некрасовъ въправду думаетъ, что это стихи?

\* \* \*

\*) На дняхъ только мы бесѣдовали съ читателемъ о новой поэмѣ г. Некрасова: «Русскія женщины», и вотъ намъ опять приходится говорить о его новомъ произведеніи, составляющемъ вторую часть поэмы: «Кому на Руси жить хорошо». Кто помнитъ первую часть этой поэмы? Она появилась четыре года назадъ, вскорѣ послѣ перехода «Отечеств. Записокъ» изъ рукъ редактора Краевского въ руки А. Краевского, и тогда же была весьма позабита, такъ какъ даже ревностнѣйшіе друзья и поклонники г. Некрасова отнесли ее къ числу неудачнѣйшихъ произведеній ихъ любимого поэта (мы говоримъ, конечно, о поклонникахъ, мало-мальски понимающихъ дѣло, потому что есть и такіе, которые дониндѣ восхищаются каждой строкой, вышедшей изъ подъ пера г. Некрасова, хотя бы въ этой строкѣ не было даже соблюденъ стихотворный размѣръ, какъ это сплошь да рядомъ встрѣчается въ его послѣднемъ произведеніи). Но самъ г. Некрасовъ очевидно взгнѣ-

\*) «Русскій Міръ» 1878 г., № 49 (ст. А. О.).

нулъ на свою поэму иначе и не только включилъ ее въ вышедшую недавно 5-ую часть его стихотвореній, но даже задумалъ продолжать ее. Поэтъ, конечно, воленъ творить, что ему угодно, но и критика вольна имѣть о его твореніяхъ сужденіе, не вполне согласное съ собственнымъ взглядомъ автора. Такъ, напримѣръ, на этотъ разъ мы полагаемъ, что новая глава поэмы, названная нѣсколько напоминающимъ акушерскую практику словомъ «Послѣдъшъ», не имѣетъ ни по идѣ, ни по содержанію своему никакого современнаго интереса. Идея, если хотите, очень благонамѣренная: авторъ желаетъ надѣяться надъ жестокостями и самодурствомъ помѣщиковъ времяя крѣпостного права и показать, какъ нельзя было бы подобное самодурство при новыхъ порядкахъ. Но, ради Бога, какой смыслъ имѣютъ въ наши дни насмѣшки надъ крѣпостными самодурами? ужь не вѣрить ли г. Некрасовъ, вмѣстѣ съ своимъ героемъ, что крестьянъ вѣрно обратно отдать помѣщикамъ? Что же касается до такъ называемаго «сюжета» комедіи, то онъ такъ несообразенъ, что и разсказать его трудно. Какой-то старичокъ-князь, узнавъ объ освобожденіи крестьянъ, такъ оживился, что противился даже на ни въ чемъ невиноватыхъ сыновей своихъ и обратилъ къ нимъ такіа рѣчи:

..... «Вы трусы подлые!  
Не дѣти вы мои!  
Искай бы люди мелкіе.  
Что вышли изъ поповичей.  
Да понажившись взятками.  
Купили мужиковъ,  
Искай бы... имъ простиительно!  
А вы... князья Утитины?  
Какіе вы У-тя-ти-ны!  
Идите вонъ! подкидыши,  
Не дѣти вы мои!»

Дальпозоркіе сыновья, «гвардейцы черноусые» испугались, какъ бы батюшка по чрезмѣрному гнѣву своему не отказать имъ передъ смертію въ послѣдствѣ, и для успокоенія его придумали такую штуку: увѣрили его, что крѣпостное право восстановлено, а крестьянъ убѣдили оказывать старику наружное почтеніе, за что обѣщали имъ подарить луга. На этой, нельзя сказать чтобы совѣмъ удачной выдумкѣ держится разсказъ, вся его соль и весь предполагаемый авторомъ комизмъ. Старый князь самодурничаетъ, мнимый

бурмистръ ему потакаетъ, крестьяне кланяются и по за спиной смѣются. Описанъ даже такой случай: князь-самодуръ приказываетъ одного мужика отодрать на конюшнѣ, и мужики разыгрываютъ веселенькую комедію: ведутъ провинившагося Агапа въ конюшню и ставятъ передъ нимъ штофъ вина:

«Ней, да кричи: помилуйте!  
Ой, батюшки! ой, матушки!»  
Послушался Агапъ,  
Чу. вопить! Словно музыку,  
Послѣдышъ стоны слушаетъ:  
Чуть мы не разсмѣились,  
Какъ сталъ онъ приговаривать:  
Катай его, разбойника,  
Бунтовщика. . Катай!»  
Ни дать ни взять, подъ розгами  
Кричалъ Агапъ, дурачился,  
Пока не донилъ штофъ:  
Какъ изъ конюшни вынесли  
Его мертвецки-пьяного  
Четыре мужика,  
Тутъ баринъ даже сжалился:  
«Самъ виноватъ, Агапушка!»  
Онъ ласково сказалъ...

Подобный фарсъ, появился двѣнадцать лѣтъ назадъ, т. е. въ годъ освобожденія крестьянъ, быть можетъ и показался бы забавнымъ, и имѣлъ бы успѣхъ *pièce de circonstance*: тогда, быть можетъ, показался бы очень удачнымъ и своевременнымъ пикапный въ извѣстномъ смыслѣ подборъ поговорокъ, въ родѣ:

..... есть пословица:  
Хвали траву въ стогу,  
А барина — въ гробу! —

или образчиковъ народнаго остроумія крѣпостной эпохи, какъ патристикъ:

«Въ кромѣшній адъ провалимся —  
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина  
Работа на господѣ!  
— Что жъ тамъ-то будетъ, Климушка?  
— А будетъ, что назначено:  
Они въ котлѣ кипятъ.  
А мы дрова подкладывать!»

Все это, повторяемъ, явился въ послѣдніе годы крѣпостной эпохи, когда въ обществѣ и въ литературѣ велась страстная борьба либеральныхъ идей съ крѣпостничествомъ, могло бы быть у мѣста и найти оправданіе въ интересахъ минуты; но въ настоящее время подобныя банальности только подтверждаютъ высказанную нами въ предыдущемъ обзорѣ мысль, что мотивы некрасовской поэзіи уже исчерпаны, и что новыхъ въ современной дѣйствительности г. Некрасовъ не находитъ. Онъ все еще переживаетъ сороковые и пятидесятые годы, годы его славы и значенія, и какъ бы не замѣчаетъ, что жизнь ушла впередъ, и что водевильное пропагандированіе анти-крѣпостническихъ идей, когда самихъ крѣпостниковъ не существуетъ, сильно отзывается заднимъ числомъ.

\* \* \*

\*) Послѣдняя книжка «Отечественныхъ Записокъ» такъ обильна достойнымъ вниманія матеріаломъ, что его хватило бы на пѣсколько обзорѣй, но такъ какъ читатели не вправе требовать отъ насъ обстоятельныхъ критическихъ разборѣвъ, то мы и ограничимся только посылнымъ указаніемъ на достоинства и недостатки наиболѣе выдающихся въ книжкѣ статей.

Съ перваго взгляда васъ особенно поражаетъ обиліе болѣе или менѣе замѣчательныхъ русскихъ именъ, которымъ щеголяютъ на этихъ разъ страницы вышеупомянутаго журнала. Тутъ вы встрѣтите и Островскаго, и Некрасова, и Щедрина, и Энгельгардта, и Глѣба Успенскаго. Прежде всего вы, конечно, остановитесь на имени ветерана нашего Островскаго въ надеждѣ, что его новое произведеніе доставитъ вамъ истинное эстетическое наслажденіе. Но увы и ахъ! давно уже миновали тѣ счастливыя времена, когда имя этого писателя поднималось только подъ талантливѣйшими произведеніями отечественной драматургіи. Теперь же талантъ г. Островскаго выдвигается съ каждымъ годомъ и намъ съ грустью приходится присутствовать при его окончательномъ паденіи. Въ силу прежней славы, страницы всѣхъ порядочныхъ журналовъ и до сихъ поръ еще принимаютъ съ распростертыми объятіями его комедіи и драмы, но только по старой памяти, а отнюдь не вслѣдствіе ихъ дѣйствительныхъ достоинствъ.



Традиція прежняго блеска, органъ котораго созданъ нашимъ безсмертнымъ критикомъ и учителемъ Добролюбовымъ, еще и до сихъ поръ связана съ именемъ автора «Прозы», но самъ онъ пережилъ свой талантъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и послѣдняя его комедія «Комикъ XVII столѣтїя», крайне плоха и ничѣмъ не напоминаетъ славнаго прошлаго своего автора...

Но если одно изъ нашихъ громкихъ литературныхъ именъ оставляетъ въ насъ тяжелое чувство, то за то другое съ избыткомъ вознаграждаетъ за все. Мы говоримъ о г. Некрасовѣ и о второй части его народной поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Эти первыя три главы второй части составляютъ отдѣльный эпизодъ, не имѣющій почти никакого отношенія къ первой части и послѣдїи отдѣльное, замѣчательно оригинальное заглавіе *Послѣднїе*.

Мы уже говорили и повторяемъ еще разъ, что муза г. Некрасова все крѣпнѣетъ, развивается и идетъ впередъ. Кто изъ нашихъ поэтовъ такъ глубоко прочувствовалъ и понялъ русскій народъ, кто искренности и честию относился къ нему, кто думаетъ его думами, говоритъ его языкомъ, плачетъ его кровавыми слезами, кто какъ не пѣвецъ скорбей родной земли? Ни одна народная книга, написанная съ спеціальною цѣлью поучать народъ, не будетъ ему такъ понятна, какъ «Коробейники» и «Кому на Руси жить хорошо?» А все потому, что каждый крестьянинъ найдетъ въ нихъ отголосокъ своихъ понятій и стремленій; все потому, что онъ почувствуетъ въ нихъ свое простое, безыскусственное, человѣческое чувство, переданное характернымъ и роднымъ ему языкомъ: все потому, что поэтъ изучилъ народъ нашъ и знаетъ его, какъ никто. Послушайте читатель, развѣ это не мужицкая рѣчь:

По низменному берегу,  
На Волгѣ, травы рослыя,  
Веселая косьба.  
Не выдержали странники:  
«Давно мы не работали.  
Давайте — покосимъ!»  
Семь бабъ имъ косы отдали.  
Проспулась, разгорѣлася  
Привычка позабытая  
Къ труду! Какъ зубы съ голоду  
Работаетъ у каждаго  
Проворная рука.

Балять траву высокую  
Подъ пѣсно, незнакому  
Вахлацкой старинѣ;  
Подъ пѣсно, что навѣяна  
Мятелями и выюгами  
Родимыхъ деревень и т. д.

Главный герой новаго произведенія г. Некрасова имепитый старикъ изъ рода Уятинныхъ, съ которымъ случился параличъ, когда онъ узналъ объ освобожденіи крестьянъ. Сыновья его, боясь, чтобы взбѣшенный старикъ, упрекавшій ихъ въ томъ, что они продали свои дворянскія права, не лишили ихъ наслѣдства, убѣдили крестьянъ обмануть вѣсть съ ними стараго князя, убѣдивъ его, что мужиковъ велѣли воротить помѣщикамъ. Тотъ повѣрилъ этому и съ тѣхъ поръ зажилъ снова попрежнему, по-барски.

Вотъ какъ описываетъ поэтъ непреклоннаго старика, прозваннаго мужиками «Послѣдышемъ».

Худой, какъ зайцы зимніе,  
Весь бѣлъ и шапка бѣлая,  
Высокая, съ околышемъ  
Изъ краснаго сукна.  
Носъ клювомъ, какъ у ястреба,  
Усы съдые, длинные  
И — разные глаза:  
Одинъ здоровый — свѣтитъ,  
А лѣвый — мутный, пасмурный.  
Какъ оловянный грошъ.

Все въ характеристикѣ «Послѣдыша», начиная съ его портрета и до описанія сопровождающей его свиты, состоящей изъ его семейства, приживалокъ и собакъ, и самой маперы говорить и интонаціи, все исполнено глубокой жизненной правды и высокой художественной простоты. Передъ вами такъ и встаетъ, во весь свой богатырскій ростъ, фигура этого вымершаго на Руси типа, котораго мы еще видѣли и поминимъ, но который останется только преданіемъ для дѣтей нашихъ. Волѣ чистаго представителя его, чѣмъ некрасовскій «Послѣдышъ» невозможно найти въ нашей литературѣ и его аристократъ помѣщикъ, князь Уятинъ, чистокровное произведение нашей родной земли.

Превосходна сцена, въ которой нестерпѣвшій барской обиды мужикъ Агапъ, напичулся на «Послѣдыша» и выругалъ его по-

мужицки. Тутъ старый князь въ первый разъ еще услыхалъ вольную, непринужденную рѣчь мужика. И дѣйствительно, въ самомъ тонѣ разсерженного Агапа звучить рѣзкая, непривычная для помѣщичьяго уха нота.

«Что брага, раскуражился  
Подонки изъ поганого  
Корыта!.. Цыцъ! Никшин!  
Крестьянскихъ душъ владѣніе  
Покончено. Послѣдышъ ты!  
Послѣдышъ ты! Но мпlosti  
Мужицкой нашей глупости  
Сегодня ты начальствуешь.  
А завтра мы послѣдышу  
Пинка — и конченъ балъ!  
Иди домой, похаживай.  
Поджавши хвостъ по горницамъ.  
А насъ оставь! Никшин!»

\* \* \*

\*) Если я не ошибаюсь, поэма г. Некрасова «Послѣдышъ» принадлежитъ къ категоріи такихъ произведеній, въ которыхъ реальная художественная правда является въ гармоническомъ соединеніи съ мыслью. Въ поэмѣ воспроизведено умпрающее крѣпостничество въ яркомъ образѣ. Несмотря на то, что, повидимому, содержаніе поэмы анекдотическое, это нмало не уменьшаетъ силы ея впечатлѣнія. Анекдотъ, даже самый пустой, можетъ быть возведенъ художникомъ на степень событія, имѣющаго широкое и глубокое жизненное значеніе, если только художникъ вложитъ въ него общій смыслъ. Примѣровъ тому искать не далеко: «Шинель», «Ночь», «Ревизоръ» основаны на анекдотахъ, и однако имѣютъ репутацію далеко не анекдотическихкихъ произведеній. Анекдотъ, составляющій содержаніе поэмы г. Некрасова, состоитъ въ слѣдующемъ: старый богатый помѣщикъ, князь Утятинъ, заболѣлъ съ горы, услышавъ, что настала воля:

Хватилъ его ударъ.  
Всю половинну лѣвую  
Отбило: словно мертвая  
И какъ земля черная  
Пропала не за конесчку!

\*) «С.-Петербург. Вѣдомости» 1873 г., 68 (ст. 21).

Извѣстно, не корысть,  
А спѣсь его подрѣзала:  
Соринку онъ терять...  
Соринка дѣло плевое,  
Да только на глазу.

Дѣти князя, думая, что старикъ уже не встанетъ, во время болѣзни отца заключили съ мужиками уставную грамоту. Но старикъ не умеръ и, узнавъ о распоряженіи дѣтей, пришелъ въ неистовую ярость за то, что они продали «права свои дворянскія, вѣками освященныя». Сообразивъ что родитель можетъ лишить ихъ наслѣдства, сыновья князя, «гвардейцы черноусые», струхнули. Одна изъ молодыхъ снохъ, для утѣшенія и укрощенія полоумнаго старика, увѣрила его, что «мужиковъ помѣщикамъ велѣли воротить».

Повѣрилъ! Проще малаго  
Ребенка сталъ старинушка.  
Какъ параличъ расшибъ.  
Заплакалъ! Предъ иконами  
Со всею семьею молится.  
Велитъ служить молебствіе,  
Звонить въ колокола!  
И слыы словно прибыло  
Опять: охота, музыка.  
Дворовыхъ дуетъ палкою,  
Велитъ созвать крестьянъ.

Комедію, разъ затѣянную наслѣдниками, необходимо было продолжать. Наслѣдники уговорили крестьянъ, чтобъ тѣ разыгрывали передъ княземъ роль крѣпостныхъ, обѣщая имъ за это подарить поемные луга, какъ только умретъ «наслѣдшъ». Мужики согласились на это: міръ дозволить «покуражиться уволенному барину въ оставные часы».

Вотъ въ этой то курьезной комедіи поэтъ превосходно обрисовываетъ, съ одной стороны, типъ умирающей крѣпостнической, «барской» власти, а съ другой — отношеніе къ этой отжившей власти крестьянства. Съ большимъ искусствомъ выставлено г. Некрасовымъ взаимное глумленіе другъ надъ другомъ названныхъ двухъ элементовъ, не чуждое, однако, нѣкоторой добродушной сердечности — отголоски долгой рабской связи, порванной «волей». Лицо послѣдняго изъ крѣпостниковъ стоитъ передъ читателемъ, какъ живое. Этотъ полюбившій «наслѣдшъ», наполовину уже лежащій въ гробу и задни-

хающийся окончательно въ послѣднихъ порывахъ своихъ крѣпостническихъ вожделѣній, этотъ «уволенный баринъ», окруженный шутовской покорностью мужиковъ, производитъ жалкое и въ то же время отталкивающее впечатлѣніе. Это типическій образъ отжившаго безправія, которое называлось крѣпостнымъ правомъ. Въ «остатке» своихъ часы это право не хочетъ признать себя побѣжденнымъ, въ безуміи отвергаетъ естественный ходъ жизни и умираетъ окруженное смѣхомъ и презрѣніемъ народа, все еще смѣшаннымъ съ пѣнкой боязни; но умираетъ онъ все-таки въ сладкомъ сознаніи полного торжества, не замѣчая своего комическаго положенія. Все это очень хорошо выражено въ образѣ, созданномъ г. Некрасовымъ. Подобный образъ могъ воспроизвести лишь писатель, глубоко почувствовавшій въ своей душѣ всю безправственность и безобразіе, всю формальную силу и все внутреннее безсиліе того гнета, представители котораго теперь сдѣлались «послѣдышами». На этотъ разъ Некрасовъ является настоящимъ поэтомъ, черпающимъ силу искренняго поэтическаго одушевленія изъ прожитыхъ имъ впечатлѣній, а не изъ логичныхъ соображеній насчетъ того, какъ бы либеральнѣе высказаться передъ публикой.

Не менѣе хороши вышли въ poemѣ лица мужиковъ и вообще отношенія міра къ «уволенному» барину. Шутовской бурмистръ, безшабашный Клипка, угрюмый Агапъ, не выдержавшій шутовства и прорвавшійся энергическимъ назиданіемъ «послѣдышу». «чувствительный халуй» Ипатъ, бурмистрова кума Орефьева — всѣ эти лица нарисованы рельефными и сжатыми чертами очень удачно. Много чисто народнаго сарказма въ потѣшной рѣчи шутовскаго бурмистра. Я не привожу ее здѣсь только за недостаткомъ мѣста, а стоило бы: эти рѣчи принадлежать къ числу лучшихъ страницъ поэзіи г. Некрасова.

Вообще говоря, настоящая глава изъ обширной поэмы «Кому на Руси жить хорошо» не только лучшая, но даже положительно удобная для сравненія съ прочими главами, слабыми и прозаичными въ цѣломъ, безпрестанно отдающими пошлостью, и только мѣстами представляющими нѣкоторыя достоинства. Замѣчательно, что даже рубленные стихи, которыми написана названная поэма, въ «послѣдышѣ» входятъ прекрасными и выразительными, не рѣжутъ уха прозаичностью. Конечно, не вся сплошь поэма выдержана: встрѣчаются и въ ней строки сомнительнаго качества.

\*) Талантъ Некрасова слишкомъ хорошо извѣстенъ всей читающей публикѣ и оцѣненъ ею, чтобы пужно было распространяться о немъ. Популярностью своею, въ настоящее время имъ значительно утраченную, онъ обязанъ не столько силѣ своего поэтическаго таланта (хотя и по силѣ этого таланта онъ стоитъ цѣлою головою выше остальныхъ современныхъ нашихъ поэтовъ), сколько «гражданскими мотивами» своихъ произведеній, иногда отличающихся кромѣ того и нѣкоторою своеобразною новизною своей формы. Главная причина его успѣха заключается въ томъ, что онъ поэтъ-публицистъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, самъ поэтъ говоритъ о нихъ:

Я не льщусь, чтобъ въ памяти народной  
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ;  
Нвѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,  
Мой суровый, неуклюжій стихъ.

Приговоръ этотъ самому себѣ слишкомъ строгъ. Но нельзя не сказать того, что у Некрасова рядомъ съ стихами, полными красотъ и силы чисто-пушкинскихъ, встрѣчаются не только стихи совершенно поуклюжіе, но и цѣлыя стихотворенія крайне неудачныя. Прибавимъ къ этому еще слѣдующее. Поэмы (къ этому роду онъ все болѣе и болѣе склоняется въ послѣднее время) обыкновенно ему не удаются: представляя во многихъ мѣстахъ первоклассныя красоты, онѣ, въ цѣломъ, страдаютъ невыдержанностью, какъ бы недодѣланностью, и сверхъ того, отличаются иногда полнымъ отсутствіемъ стройнаго плана («Несчастные»), а иногда растянутостью («Коробейники», «Морозъ — красный носъ»).

Со всеми почти достоинствами и недостатками некрасовской музыки мы встречаемся и во втором отрывке из его «Русских женщин», в котором рассказывается эпизод из жизни княгини М. Н. Волконской (дочь знаменитого генерала Н. Н. Раевского и жена декабриста князя С. П. Волконского), которая последовала за своим мужем в Сибирь. Вот этот-то эпизод из ее жизни и составляет содержание поэмы. Рассказ ведется от лица самой героини.

Новая поэма Некрасова встречена была нашею критикою довольно

1. «Биржевые Вѣдомости» 1873 г., № 78. (Ст. ч. II.).

единодушными похвалами. Единственное исключение отсюда составляет одна только академическая газета, — и на это она имеет, как известно, многие причины. С одной стороны, она вообще считает долгом смотреть враждебно на все, что не ей приходится; с другой стороны, она имеет сверх того и специальный зуб против «Отечественных Записок», которые, кистью Щедрина, представили мастерской и уморительный портрет ее кружка, окрестив ее названием «Старейшей российской фотоснимательницы»; наконец, сам библиограф академической газеты, г. З. принадлежит к числу «униженных и оскорбленных» редакцией «Отеч. Записок», так как редакция эта забрала у него творения г. З., который таким образом получил, вместо ожидаемого им гонимости, обратную свою рукопись назад.

Если взять во внимание давно известную всем общность фотоснимателей академической газеты и их недобросовестность в войне с литературными противниками, то для нас станет совершенно понятным, почему «Петербургские Ведомости», без всякого совета, встречают бешеным лаем все, что появляется в «Отечественных Записках». Наиболее замечательного и почему г. З. в частности накидывается даже на Щедрина, не замечая того, что в этом случае он представляет из себя Крыловскую морскую лающую на слона. Мы не можем примкнуть ни к мнению г. З., ни к рецензентам, безусловно восхищающимся новой поэмой Некрасова. Мы с своей стороны, находим, что она, при всех своих достоинствах, не принадлежит к лучшим его вещам и богатей ее сюжет достоин был бы лучшей обработки. Стихи ее в большинстве случаев тяжелы; патетические места нередко отличаются какой-то холодной дѣланностью, иногда звучат фальшиво; наконец, она изобилует ненужными подробностями, которые страшно охлаждают читателя своей прозаичностью. Вообще новая поэма Некрасова кажется не плодом свободного творчества, а каким-то, часто неудачным, очень прозаическим, но как будто буквальным переложением в стихи мемуаров княгини Волконской. Очевидно, что мемуары и поэма — две вещи совершенно различные, и в этом заключается главный недостаток новой поэмы Некрасова.

По нашему мнению, гораздо удачнее новый отрывок из его поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: при оригинальном складе,

онъ отличается выдержанностью и дышитъ чисто народнымъ юморомъ, такъ что нѣкоторая его растянутасть почти не утомляетъ читателя.

\* \* \*

\*) Между современными русскими поэтами г. Некрасовъ занимаетъ привилегированное положеніе. Когда, лѣтъ двѣнадцать назадъ, на поэзію и поэтовъ вообще въ журналистикѣ нашей поднялось жестокое гоненіе, когда любимѣйшіе и бесспорно талантливыѣйшіе поэты низвергались съ пьедесталовъ, поражаемые громами фельетонной критики, когда публицисты, въ поискахъ за общественнымъ зломъ, останавливались на стихахъ гг. Фета, Майкова, Полонскаго,—въ эту тяжелую годину г. Некрасовъ счастливо избѣгнулъ участи своихъ собратьевъ. Несмотря на то, что запятія поэзіей единогласно признаны петербургскою критикой не соответствующими достоинству развитого человѣка, г. Некрасовъ невозбранно продолжалъ и продолжаетъ наполнять страницы самыхъ *quasi*-прогрессивныхъ изданій своими стихами, и петербургская критика не пахочитъ, чтобъ обстоятельство это причиняло какой-либо ущербъ нашему общественному развитію. Короче, какая-то счастливая волна видимо отдѣлила г. Некрасова отъ общаго теченія и благополучно понесла его въ попутную сторону.

Повидимому, самъ г. Некрасовъ въ началѣ своего поэтического поприща вовсе не разчитывалъ на такую выгодную карьеру. Въ одномъ изъ старыхъ своихъ стихотвореній, онъ выражался такимъ образомъ:

Блаженъ незлобивый поэтъ.  
Въ комъ мало желчи, много чувства:  
Ему такъ искрененъ привѣтъ  
Друзей спокойнаго искусства.  
Ему сочувствіе въ толпѣ  
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;  
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ —  
Сей пытки творческаго духа:  
Люби безпечность и покой.  
Глушаясь дерзкою сатирой,

\*) В. Г. Авсеенко. «Русскій Вѣстникъ» 1873 г., № 6 («Поэзія журнальных мотивовъ»).



Онъ прочно властвуетъ толпой  
Съ своей миролюбивой лирой.  
Дивясь великому уму,  
Его коварно не злословятъ,  
И современники ему  
При жизни памятникъ готовятъ...

Случилось однако совершенно наоборотъ. Къ особенному счастью г. Некрасова, «волны русского прогресса» приняли такое теченіе, что утлая ладья незлобивыхъ поэтовъ оказалась опрокинутою и потопленною, а надъ поглотившею ихъ бездною побѣдно развивается парусъ обильнаго желчью г. Некрасова.

Ему сочувствіе въ толпѣ  
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;  
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ —  
Сей пытки творческаго духа.

И въ то время, какъ современники «дивятся его великому уму и при жизни памятникъ готовятъ», печальна судьба незлобиваго поэта:

Его преслѣдуютъ хулы:  
Онъ ловитъ звуки одобренья  
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы  
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Этотъ «незлобивый поэтъ» есть, конечно, лицо собирательное; онъ олицетворяетъ собою всю ту поэтическую илеяду сороковыхъ годовъ, которая вынесла на своихъ плечахъ упомянутое гоненіе и приняла на свои головы молніи и громы, тщательно миновавшіе главу г. Некрасова. Правда, иначе едва ли и могло быть, такъ какъ самые грозные громы, обрушившіеся на поэтовъ, находились въ непосредственномъ распоряженіи г. Некрасова, какъ издателя *Современника* и *Свистка*.

Но не въ этой, конечно, виѣшней связи г. Некрасова съ журналистикой заключается тайна привилегированнаго положенія, въ какомъ видимъ мы его въ послѣднее время. Подъ этою виѣшнею связью, въ самой поэзіи г. Некрасова скрывается внутренняя связь съ тѣмъ направлеиіемъ, какое съ сороковыхъ годовъ неуклонно пыталась принять наша періодическая печать, и какое въ концѣ концовъ выродилось въ явленіе, названное нами въ предыдущей

статье журнализмомъ. Внимательнымъ разборомъ поэзіи г. Некрасова мы надѣемся показать, что эта поэзія постоянно искала сближенія съ господствующимъ журнальнымъ направленіемъ, черпала изъ него свои силы и вдохновеніе и изсякла какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. Мы увидимъ, что поэтическая дѣятельность г. Некрасова двигалась постоянно параллельно съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей, вѣрнымъ отраженіемъ которыхъ она всегда была, и вѣстѣ съ которыми вступила теперь въ періодъ совершеннаго безплодія.

Явленіе это весьма поучительно. Какимъ образомъ поэтъ, не обдѣленный талантомъ, могъ обратиться къ такому сомнительному источнику вдохновенія, какъ петербургское журнальное направленіе, и замкнуть свою литературную карьеру въ кругъ его идей? А между тѣмъ, изучая г. Некрасова въ связи съ общимъ движеніемъ нашей поэзіи и литературы вообще, нельзя не убѣдиться, что въ то время, какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчно-юныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ, поскольку они отражались въ теченіи журнальныхъ идей, служившихъ для него единственною духовною пищею. Поэзія г. Некрасова вырабатывалась въ редакціяхъ и служила постоянно какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики.

Наша новая поэзія вышла цѣликомъ изъ Пушкина. Антологическія и лирическія стихотворенія Пушкина были источникомъ, къ которому послѣдующія поколѣнія поэтовъ постоянно обращались. Эта близкая связь съ Пушкинымъ не была результатомъ простаго подражанія: родство обуславливалось тѣмъ, что многосторонній гений поэта обнялъ всю область поэзіи и указалъ въ ней пути, съ которыхъ нельзя сойти, не разрывая съ вѣчными законами искусства. Пушкинъ первый заговорилъ у насъ тѣмъ языкомъ, въ которомъ выразились не субъективныя чувства, симпатіи и вкусы поэта, но исповѣдь благороднаго представителя вѣка, которому ничто человѣческое не чуждо. Онъ отрѣшилъ русскую поэзію отъ мечтательнаго, заимствованнаго романтическаго идеализма, какимъ она была запечатлѣна подъ перомъ Жуковскаго, и привелъ ее въ соприкосновеніе съ быющимъ пульсомъ жизни — жизни образованнаго

и мыслящаго общества. Въ поэзіи Пушкина находили отраженіе своихъ идей и впечатлѣній не одни только любители искусства, но всѣ, кто умѣлъ благородно мыслить и чувствовать, кому доступны были общечеловѣческія идеи добра, правды и красоты.

Лермонтовъ былъ непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина. Его поэзія запечатлѣна субъективнымъ чувствомъ, сильно отличающимъ ее отъ Пушкинскою, по внѣ этого субъективнаго чувства онъ шелъ рабски по пути, проложенному его великимъ учителемъ. Самъ онъ не проложилъ новыхъ путей; даже внѣшнія поэтическія формы у него тѣ же, что у Пушкина, — тѣ же поэмы, въ которыхъ сила лирическаго чувства и красота описаній выкупаютъ бѣдность романческаго содержанія, тѣ же краткія и сильныя лирическія стихотворенія, тотъ же шутиливый тонъ въ изображеніяхъ всенев-ной современной жизни, тотъ же наконецъ четырехстопный ямбъ. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермонтовымъ, хотя онъ не достигъ желѣзной выразительности Пушкинскаго стиха послѣдняго періода; описательныя мѣста въ его поэмахъ иногда плѣнительнѣе, чѣмъ у Пушкина, но зато нѣкоторые роды поэзіи, коими Пушкинъ владѣлъ въ совершенствѣ, остались для Лермонтова совершенно недоступными, какъ, напримѣръ, апологическій родъ, которому Пушкинъ научился у Гёте, Шенье и Батюшкова. Въ общемъ, Лермонтовъ послужилъ какъ бы повѣркой Пушкина, доказавъ, что созданныя послѣднимъ приемы въ высшей степени жизненны, и намѣченные имъ пути могутъ вести къ безконечному развитію.

Со смертію Лермонтова, въ поэзіи нашей наступаетъ продолжительное затишье. Поэты Пушкинскаго цикла умолкаютъ; новыя таланты зрѣютъ медленно. Болѣющее, трезвое и свѣтлое настроеніе Пушкинскою поэзіи какъ бы изсякло не только въ литературныхъ кружкахъ, но и въ самомъ обществѣ; чувствуется что новое поколѣніе поэтовъ должно принести съ собою другой, не-Пушкинскій тонъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда съ конца сороковыхъ годовъ вступаетъ на литературное поприще новая поэтическая плеяда, иной тонъ ясно слышится въ нашей новой поэзіи, хотя она продолжаетъ разрабатывать тѣ же темы, остается въ тѣхъ же формахъ и напоминаетъ тѣ же звуки.

Критика пятидесятихъ годовъ много способствовала успенію поэтовъ того времени, но общая оцѣнка даровитой плеяды, въ ко-

торой соединились имена гг. Майкова, Фета, Полонскаго, Тютчева, Щербини. Меня еще ждѣтъ безпристрастнаго слова. Рецензенты пятидесятихъ годовъ очень много сдѣлали для того, чтобы, такъ сказать, провести названныхъ поэтовъ въ публику, создать въ обществѣ массу цѣнителей поэтическихъ дарованій (услуга, которою, замѣтимъ мимоходомъ, гнушается современная критика), но явленія, вызвавшія извѣстный новый тонъ поэзіи того времени и сообщившія много родственныхъ чертъ цѣлому кружку поэтовъ, остались не разъясненными. Между тѣмъ, изучая этихъ поэтовъ, нельзя не убѣдиться что они руководились однимъ и тѣмъ же взглядомъ на поэзію, и несмотря на литературную самостоятельность каждого изъ нихъ, черпали вдохновеніе изъ одного и того же источника и разрабатывали поэтическія темы въ одномъ и томъ же направленіи. Такое совпаденіе, конечно, не могло быть случайнымъ, и въ общемъ ходѣ нашего развитія критика неминуемо должна найти явленія, его обусловившія.

Безпокойно-страстное и неудовлетворенное чувство, отразившееся въ нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, было удѣломъ цѣлаго поколѣнія, и не у насъ только, но и въ Европѣ. Въ избранныхъ умахъ господствовало чувство утомленія и недовольства, которое съ такою страстностью и такимъ горькимъ смѣхомъ выразилось въ поэзіи Гейне. Какъ поэтъ, выплакавшій въ стихахъ горе и боль своего вѣка, Гейне непосредственно слѣдуетъ за Байрономъ. У насъ влияние Гейне было всесторонне и продолжительно. Болѣзненный смѣхъ Гейне, этотъ смѣхъ надъ тѣмъ самымъ, что онъ любитъ, пришелся какъ нельзя болѣе по вкусу русскому обществу, всегда расположенному сомнѣваться въ себѣ самомъ и смѣяться надъ собою. Гейне былъ встрѣченъ у насъ какъ родной пѣвецъ, и у каждого русскаго поэта нашелся въ душѣ отголосокъ на его пѣсни. Довольно припомнить, что поэты самыхъ противоположныхъ направленій переводили Гейне и подчинялись его влиянію; у каждого нашлись струны, звучащія согласно съ его лирою.

Эта тоскливая струна внутреннего разлада слышится напริมѣръ въ поэзіи г. Фета, и только близорукіе не замѣчаютъ ея за страстнымъ звукомъ любви.

Находятъ дни: съ самимъ собою  
Бороться сердцу тяжело...  
И духа злобы надъ душою  
И слышу тяжкое крыло.

Самая любовь — страстная и мечтательная — является у г. Фета лишь как бы исходомъ изъ замкнувшагося круга внутреннихъ страданій. Есть у г. Фета одно стихотвореніе, въ которомъ жажда счастья и недугъ сомнѣвающагося духа выразились очень ясно; стихотвореніе это озаглавлено: *Весеннія мысли*.

Снова птицы летятъ издалека  
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ,  
Солнце теплое ходитъ высоко  
И душистаго ландыша ждетъ.  
Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь  
До ланить восходящую кровь,  
И душою *подкупленной* вѣришь,  
Что какъ міръ *безконечна любовь*.  
Но сойдемся ли снова такъ близко  
Средь природы разбѣженной мы.  
Какъ видало ходившее низко  
Нашъ холодное солнце зимы?

Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разумокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье:

О, называй меня безумнымъ! Назови  
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабъ*.  
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,  
Что не могу молчать, не стану, не умю!

Изъ этой борьбы неудовлетвореннаго духа съ жаждою счастья, самозабвенія, протекаютъ два параллельныя теченія, проходящія по всей поэзіи г. Фета: скорбное томленіе души и поэтическое чувство, обращенное къ женщинѣ. Только подлѣ любимаго существа находитъ поэтъ разрѣшеніе своего недуга; тяжелое крыло «духа злобы» перестаетъ вѣять надъ нимъ, и большая душа волнуется «нѣжною томительной» во власти «несказаннаго стремленія». Припомнимъ прелестныя строки изъ стихотворенія *Муза*:

Мнѣ Муза молодость иную указала:  
Отягощала прядь душистая волосъ  
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ;  
*Платья послѣдніе* въ рукѣ ея дрожали;  
Отрывистая рѣчь была *полна печали*  
И женской прихоти. и серебристыхъ грезъ.

*Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ.  
Какой-то нѣгою томительной волнуемъ,  
Я слушалъ, какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,  
И долго безъ нея души была больна  
И несказаннаго стремленія полна.*

Стихотвореніе это задумано въ антологическомъ родѣ, но у г. Фета античная муза превратилась въ мечтательный, полупрозрачный призракъ *сѣверной* поэзіи. Напрасно искали бы мы въ немъ пластичности, роскоши и силы: это мечтательный, блѣдный образъ, созданный изъ серебристыхъ лучей мѣсяца:

Если зимнее небо звѣздами горитъ  
И мечтательно свѣтитъ луна.  
Преодолю твой образъ, твой дивный. скользить.  
Словно ты изъ лучей создана  
И свѣтла и легка, ты несешься туда...  
Я гляжу и молю хоть слѣдовъ...  
И свѣтла и легка — но зато ни слѣда.  
Только грудь обуяетъ любовь...

(Отъ этого мечтательнаго образа вѣетъ сѣверомъ, словно отъ геронимовой зимней сказки:

Знаю я что ты, *малютка*.  
Лунной ночью не робка:  
Я на снѣгъ вижу утромъ  
Легкій отпечатъ башмачка.  
Правда, ночь при свѣтѣ лунномъ  
Холодна, тиха, ясна:  
Правда, ты не даромъ, другъ мой.  
Покидаешь ложе сна:  
Бриллианты въ свѣтѣ лунномъ.  
Бриллианты въ небесахъ,  
Бриллианты на деревьяхъ.  
Бриллианты на снѣгахъ.  
Но боюсь я, другъ мой милый.  
Какъ бы въ вихрь духъ ночной  
Не завѣялъ бы тропинку,  
Проложенную тобой.

Присутствіе этого мечтательнаго и чистаго существа отрадно дѣйствуетъ на поэта; въ минуту душевнаго умиленья, онъ спрашиваетъ:

Не здѣсь ли ты *легкою тѣнью*,  
Мой геній, мой ангелъ, мой другъ,  
Бесѣдуешь *тихо* со мною  
И *тихо* летаешь вокругъ?  
И робкимъ даришь вдохновеньемъ,  
И *сладкій* врачуешь недугъ,  
И тихимъ даришь сповидньемъ...

Поэтъ вѣрнѣ въ молитвенную чистоту этой женщины-младенца и ищетъ подлѣ нея силы въ борьбѣ съ тѣмъ «духомъ злобы и сомнѣнья», крыло котораго порою тяжело вѣетъ надъ нимъ:

Какъ ангелъ неба безмятежный,  
Въ сѣняхъ тихаго огни.  
Ты помолнись душою нѣжной  
И за себя и за меня.  
Ты отъ меня любви словами  
Сомнѣнья духа отжени,  
И сердце тихими крылами  
Твоей молитвы осѣни.

Этотъ поэтический образъ, въ которомъ черты Шекспировскихъ женщинъ — Дездемоны, Офеліи, Корделии — слились съ прозрачными красками сѣверныхъ сагъ, необыкновенно гармонируетъ съ лиризмомъ нашей поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода. Эта *малютка*, созданная изъ серебристо-сѣваго сѣянія зимней ночи, съ печалью на скорбномъ лицѣ, со слѣдами слезъ на ясныхъ глазахъ, съ послѣдними блеклыми цвѣтами въ рукѣ, съ очарованьемъ молитвенной благодати, вѣющимъ отъ всего существа ея, — эта женщина особенно близка и дорога для больного сына вѣка, ищущаго выхода изъ чувства неудовлетворенія и сомнѣнія, уязвленного жаломъ *мирозой скорби* и полного *несказаннаго стремленія*. Близъ этой женщины притуляется острое чувство, и душевная боль разрѣшается сладкимъ томленіемъ...

Мы старались уловить этотъ образъ въ поэзіи г. Фета, потому что ни у кого не выразился онъ съ такою прозрачностью; но онъ живетъ и удругихъ поэтовъ того же круга, напримѣръ у г. Тютчева и у г. Полонскаго. Ощущеніе неудовлетворенности, стремленіе къ выходу, къ отвлеченію, есть общая черта всей нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. У г. Майкова это чувство выразилось въ другой формѣ, но съ неменьшею силой, въ лучшемъ

его произведеніи: *Три смерти*, не говоря уже о многих мелких лирических стихотвореніяхъ, отразившихъ на себѣ вліяніе Гейне.

Замѣчательно, что критика времени вовсе не замѣтила насколько топъ этой поэзіи и ея вдохновеніе исходятъ изъ глубины жизни и духа времени. Чувство неудовлетворенія, проходящее обильною струей въ этой поэзіи, ускользнуло отъ вниманія критики, видѣвшей только поэтическія темы, которыя казались ей весьма удаленными отъ жизни, и проглядѣвшей незримую нить, связывавшую эти темы съ общественными историческими условіями. Критика замѣчала только, что поэты поютъ о любви, о женщинѣ, что чувствуемая въ ихъ поэзіи страсть есть страсть къ женщинѣ, — и когда въ концѣ сороковыхъ годовъ въ журналистикѣ нашей возникла идея о необходимости ближайшей связи литературы съ жизнью, вся не-Некрасовская поэзія весьма смѣло была отнесена къ области чистаго искусства, пребываніе въ которой для писателя сдѣлалось предосудительнымъ. Къ шестидесятымъ годамъ такой взглядъ утвердился окончательно со всѣми крайностями увлеченія, и поэты негражданскаго закала торжественно поставлены на одну доску съ ворами (въ извѣстныхъ стихахъ г. Некрасова:

Одни — стяжатели воров.  
Другіе — сладкіе пѣвцы.)

Разсматривая поэзію болѣе со стороны формы чѣмъ внутренняго содержанія, журналистика конца сороковыхъ годовъ нашла ее весьма далекою отъ возникавшихъ тогда общественныхъ задачъ, и заявила требованія, которымъ поэты послѣ-Пушкинскаго періода весьма мало, по ея мнѣнію, удовлетворяли. Журналистика требовала прежде всего отрицанія существующаго общественнаго строя. Она не замѣтила, что и безъ того отрицаніе было мотивомъ поэзіи Гейне и его послѣдователей; она хотѣла отрицанія рѣзкаго, голаго, не прикрытаго поэтическимъ стремленіемъ къ красотѣ и къ художественнымъ идеаламъ. Все облававшееся въ художественныя формы казалось ей бесполезнымъ, не достигающимъ тенденціозной цѣли. Поэзія должна была служить протестомъ противъ социальнаго неравенства; въ этомъ смыслѣ поэтическое поклоненіе красотѣ признавалось чѣмъ-то аристократическимъ. Симпатіи журналистики перенесены были на такъ-называемую меньшую братію, объ освобожденіи которой отъ социальныхъ оковъ давно уже говорила евро-



пейская печать. Отсюда возникло требованіе народности, то-есть литературѣ предписано было заняться бытомъ и интересами русскаго крестьянина и отстраниться отъ художественныхъ идеаловъ, какъ чуждыхъ народной, или вѣрнѣе, протонародной жизни. Извѣстныя строки Пушкина —

Не для житейскаго волненія,  
Не для корысти, не для битвъ,  
Мы рождены для вдохновенія,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ —

сдѣлались предметомъ раздора въ нашей періодической печати, усмотрѣвшей въ этомъ опредѣленіи поэта прямое противорѣчіе возникшимъ новымъ требованіямъ. Г. Некрасовъ отозвался на это движеніе стихотвореніемъ: *Поэтъ и гражданинъ*, въ которомъ ставитъ спорный вопросъ такимъ образомъ:

Пускай ты вѣренъ назначенію.  
Но легче ль родинѣ твоей?

Онъ не прибавляетъ, было ли бы родинѣ легче, если бы поэтъ измѣнилъ своему назначенію. Въ этомъ же стихотвореніи онъ посвящаетъ «сладкимъ» поэтамъ такіа строки:

.... Громъ ударилъ; бури стонетъ  
И снасти рветъ, и мачту клонитъ —  
Не время въ шахматы (?) играть.  
Не время пѣсни распѣвать!  
Вотъ пѣсь — и тотъ опасность знаетъ  
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ:  
Ему другого дѣла нѣтъ....  
А ты что дѣлалъ бы, поэтъ?  
Уже ль въ каютѣ отдаленной  
Ты сталъ бы лирой вдохновенной  
Афишцевъ уши усаждать  
И бури грохотъ заглушать?

Однако, развѣ лучше, и достойнѣе, и полезнѣе лаять псомъ на вѣтеръ?... Въ обстоятельствахъ, какія описываетъ г. Некрасовъ въ вышеприведенныхъ стихахъ, люди литературой не занимаются, ни чистую, ни нечистую, а потому аллегорія лишена значенія и силы.

Поэтическая дѣятельность г. Некрасова такъ тѣсно сплелась съ судьбами петербургской журналистики, что ее нельзя разсматривать внѣ этой связи. Выступивъ на литературное поприще въ одно время съ возникновеніемъ новаго журнальнаго направленія, онъ до такой степени точно сообразовалъ свою поэзію съ этимъ направленіемъ, что нерѣдко стихи его служили только рифмованнымъ перифразомъ журнальныхъ статей, и постоянно — отголоскомъ журнальныхъ требованій. Услужливость г. Некрасова въ этомъ отношеніи не имѣетъ предѣловъ: перебирая пять томовъ его стихотвореній, можно прослѣдить по нимъ весь ходъ нашей журналистики. Возникло, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ требованіе народности, и г. Некрасовъ написалъ своего *Огородника* и *Въ дорожъ* какъ разъ въ томъ самомъ духѣ и направленіи, какъ понимали народность въ петербургскихъ редакціонныхъ кружкахъ. Правда, эта народность очень походила на петербургскаго ряженаго троечника, въ плисовой поддевкѣ и шляпѣ съ пѣтушьимъ перомъ, насвистывающаго трактирную пѣсню; но наши литературные кружки, и въ особенности кружокъ Гѣлиинскаго, только и понимали народность въ этомъ ряженомъ видѣ, въ какомъ она являлась у столичныхъ quasi-ямщиковъ и у Палкиныхъ половыхъ прежняго времени. Настоящая, перяженная русская жизнь оставалась всегда чуждою нашимъ петербургскимъ наблюдателямъ: они понимали въ ней только бахвальство дворцоваго слуги и ухорство *мистерчика*. Г. Некрасовъ, заимствовавшій свое чувство народности изъ петербургскихъ журналовъ, естественно долженъ былъ положить на нее тотъ самый отпечатокъ, съ какимъ она являлась въ народолюбивомъ сознаніи людей, наблюдавшихъ ее у Палкина и подъ балаганами: русскій простолюдинъ предсталъ въ стихахъ г. Некрасова въ красной рубашкѣ, съ серебряною серьгой въ одномъ ухѣ, «круглолицъ, бѣлолицъ, кудри чесаный лень», въ плисовыхъ шароварахъ и съ гармоникой въ рукахъ. Въслѣдствіе, когда знаніе и пониманіе народности сдѣлало успѣхи въ самой петербургской журналистикѣ, когда точка зрѣнія на народность въ ней перемѣнилась, и вмѣсто ухорства и бахвальства стали замѣчать въ народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжелое бремя чернорабочаго труда, въ мнимонародной поэзіи г. Некрасова явились другія краски. Вслѣдъ за журналистами онъ увидѣлъ нищету и лохмотья, кумачная рубашка смѣнилась рубищемъ, трактирная пѣсня — стономъ бурлаковъ, тя-

нущих ляжку. Но вдохновеніе опять шло не изъ непосредственнаго наблюденія жизни, а изъ журнальныхъ статей, и потому опять звучало фальшиво; дѣйствительныя черты народнаго духа, какія указывалъ, напрямѣрь, г. Достоевскій въ *Запискахъ изъ Мертваго дома* или Андрей Печерскій, остались незамѣченными г. Некрасовымъ, хотя у него есть стихотворенія, прямо павѣянные *Записками изъ Мертваго дома*. Фальшивость происходила оттого, что почерпнутые у г. Достоевскаго мотивы г. Некрасовъ проводилъ сквозь горнило воззрѣній редакціи *Современника*, измѣняя точку зрѣнія, и въ этомъ процессѣ перегорали краски, полученные изъ непосредственнаго художественнаго наблюденія. Впрочемъ, поддѣльность народнои поэзіи г. Некрасова такъ очевидна, что излишне распространяться объ этомъ предметѣ.

Гораздо любопытнѣе взглянуть, какъ отразилось въ стихахъ нашего поэта то движеніе социальныхъ идей, которое съ половины сороковыхъ годовъ составляетъ внутреннее содержаніе петербургской журналистики. Мы видѣли, что критика, просмотрѣвшая социальное и историческое значеніе нашей художественной поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода, и замѣтивъ только ея внѣшнее содержаніе, ея темы, посвященныя любви женщинъ, красотѣ, осудила эту поэзію во имя общественныхъ и гражданскихъ идей. Осудивъ содержаніе, она осудила также и форму, въ художественной виртуозности которой она видѣла нѣгу звуковъ, не гармонировавшую съ тѣми новыми темами, которыя журналистика претендовала внести въ поэзію. Журнализмъ потребовалъ отъ поэтовъ суровыхъ нѣсеней, суровыхъ образовъ, которые воплотили бы въ себѣ борьбу человѣчества за социальныя права, въ которыхъ звучали бы отголоски страданій, стоны пролетаріевъ, задавленныхъ социальнымъ неравенствомъ. Насколько все это было примѣнимо къ русской жизни внѣ специальныхъ условій крѣпостнаго права — журналистика не разсуждала. Выйдя сама изъ условій чуждой жизни, она поставила своею задачею: отыскать во что бы то ни стало аналогическія условія въ русскихъ порядкахъ и такъ или иначе ввести русскую жизнь въ социальное движеніе, внѣ котораго нашъ журнализмъ не умѣлъ найти для себя содержанія. Явилось требованіе, чтобы наша поэзія служила отголоскомъ этой борьбы, чтобы она забыла «пѣсни любви и лѣни». Новая поэзія должна была нарядиться въ лохмотья социальной нищеты, облечься въ «суровый, неуклюжій стихъ», и забыть о

«праздникъ жизни, потому что на этомъ праздникѣ много званныхъ, но мало избранныхъ. Зашитица униженныхъ и угнетенныхъ, она должна рыдать и скорбѣть, обливаться желчью и негодованіемъ.

Г. Некрасовъ вызвался съ точностью удовлетворить этимъ новымъ требованіямъ. Онъ вѣритъ, что въ этихъ именно требованіяхъ заключается его поэтическое призваніе:

.... Рано надо мной отяготѣли узы  
Другой, неласковой и нелюбимой музы,  
Печальной спутницы печальныхъ бѣдннговъ,  
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —  
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей.  
Всечасно жаждущей, унижено просящей,  
Которой золото — единственный кумпръ...  
Въ уладу новаго пришельца въ Божій міръ,  
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной.  
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,  
Она пѣвала мнѣ — и полонъ былъ тоской  
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой.  
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго горя,  
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,  
Или тревожила младенческій мой умъ  
Разгульной пѣсней... Но тотъ же скорбный стонъ  
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулѣ шумномъ.  
Все слышалось въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:  
Расчеты мелочной и грязной суеты,  
И юношескихъ дѣтъ прекрасныя мечты,  
Погибшая любовь, подавленные слезы,  
Проклятья, жалобы, беспильныя угрозы.  
Въ порывѣ ярости, съ неправдою людскою  
Безумная клялась начать упорный бой,  
Предавшись дикому и мрачному веселью,  
Играла бѣшено моею колыбелью.  
Кричала: мщеніе! и буйнымъ языкомъ  
Въ сообщники свои звала Господень громъ!

Какая мрачная и дикая программа! Рыдающій вопль и буйный разгулъ — какой-то пиръ во время чумы, Фаустъ, Гёте и пластическія фантазіи Макарта... И г. Некрасовъ неоднократно возвращается къ этой программѣ: онъ любитъ воображать себя пѣвцомъ скорби и страданья, любитъ находить въ своей поэзіи желчь и мстительное чувство:

Если долго сдержанныя муки  
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,  
Я пишу . . . . .  
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,  
Мой суровый, неуклюжій стихъ!  
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...  
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь.  
Торжествуетъ мстительное чувство...

Даже воспоминанія собственного дѣтства, съ такимъ примиряющимъ и освѣжающимъ вѣяніемъ дѣйствующія на человѣка, будятъ въ душѣ г. Некрасова лишь мрачныя образы и озлобленное чувство. Онъ радъ, что время разрушило гнѣздо, въ которомъ протекли его первые годы, что измѣнился даже наружный видъ родной стороны:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидалъ взоръ,  
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —  
Въ томящій лѣтній зной защита и прохлада —  
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,  
Попуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,  
И на бокъ валится пустой и мрачный домъ,  
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликоваій  
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій.  
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,  
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Таковъ г. Некрасовъ, когда онъ обращается къ своему внутреннему чувству или строитъ программу собственной поэтической дѣятельности. Но эта программа походитъ на великолѣпныя прописи, за которыми путешественникъ неожиданно встрѣчается съ небольшою постройкой весьма посредственной архитектуры. Такое же разочарованіе испытываетъ читатель, когда отъ вышеприведенныхъ стихотвореній переходитъ къ тѣмъ произведеніямъ г. Некрасова, которыя упрочили за нимъ званіе сатирическаго поэта. Оказывается, что «скорбный стоиъ, подавленные слезы, проклятія, жалобы, безсильныя угрозы» Некрасовской музы направлены на предметы, нѣсколько водевильнаго свойства и во всякомъ случаѣ не имѣющіе того какъ бы стихійнаго значенія, котораго читатель расположенъ ожидать. Предметами сатиры являются то выльзающій изъ канцелярскихъ потемокъ бюрократъ, оставляющій съ сильнымъ міра сего «съ глазу на глазъ красавицу дочь», то опять тотъ же бюрократъ, живущій «согласно

съ строгою моралью» и подкарауливающий похождения своей жены, чтобъ уличить ее «съ полиціей»; то опять все тотъ же неизмѣнный бюрократъ, устраивающій своей дочери «прекрасную партію», затѣмъ опять онъ же, не умѣющій голоднаго отъ пьянаго отличить, и наконецъ опять онъ же, гуляющій по Невскому и обѣдающій въ Англійскомъ клубѣ. Для разнообразія мелькаютъ порою въ сатиры г. Некрасова помѣщики старыхъ временъ, рыскающій по полю съ борзыми и ломающій ребра встрѣчному и поперечному, да падшая женщина, давящая рысакими петербургскихъ пѣшиходовъ.

Таковы постоянныя, любимыя темы тѣхъ стихотвореній г. Некрасова, которыя наиболѣе нравились публикѣ и наиболѣе содѣйствовали упроченію его литературной репутаціи. Уровень сатиры, очевидно, весьма не высокъ и нимало не соответствуетъ грандіознымъ задачамъ, которыя воображеніе предписало поэту. Читатель опять встрѣчается здѣсь съ пошловатымъ отпечаткомъ канцелярскаго либерализма и водевильно-фельетонной литературы чисто петербургскаго происхожденія. Заимствованность вдохновенія не изъ непосредственнаго, широкаго изученія жизни, а изъ литературы, точка зрѣнія наблюдателя, обобщающаго окружающую его дѣйствительность съ панелей Невского проспекта — сказываются въ сатирахъ г. Некрасова какъ же очевидно и ясно, какъ и въ его мнимо-народныхъ произведеніяхъ. Идея социальнаго протеста, служащая содержаніемъ нашей новой литературы, прошла черезъ журнальную реторту и получила въ ней тотъ водевильно-канцелярскій оттѣнокъ, которымъ залечатлѣна вообще петербургская печать. Въ этомъ процессѣ все, что названная идея заключала въ себѣ грандіознаго, общеловѣческаго, ослѣло на стѣнкахъ дистиллирующаго снаряда, и осталась маленькая, художничья идея, выражающая протестъ загнаннаго петербургскаго чиновника противъ вылѣзнаго въ люди бюрократа. Униженный и оскорбленный, о сочувствіи къ которому зывала журналистика, найдешь въ лицѣ маленькаго чиновника, который

Въ провіантскую комиссію,  
Поступивши, напримѣръ,  
Покупалъ свою провизію —  
Вотъ какой милліонеръ!

Это было очень естественно со стороны поэта, почерпавшаго свое вдохновеніе изъ міросозерцанія *Современника*. Когда этой журналистикѣ понадобилось во что бы то ни стало отыскать въ русской

жизни условія соціальной борьбы — нѣтъ ничего удивительнаго, что эти условія найдены въ явленіяхъ ближайшей дѣйствительности, въ петербургской жизни — единственной доступной наблюденіямъ журнальныхъ дѣятелей. Этотъ петербургскій букетъ, составившійся изъ нищеты и скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной и трактирной жизни, отразился всецѣло въ поэзіи г. Некрасова и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ запахомъ. Остроуміе Александринской сцены и развзная пронія, не чуждая разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропили обильною струей эту чисто петербургскую сатиру, относительно которой самъ авторъ очевидно приходитъ въ заблужденіе, подозревая будто его муза, «плачущая, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая», путемъ этой водевильной сатиры,

Въ порывѣ ярости, съ неправдою людскою  
Безумная клялась начать упорный бой.

Бой оказывается не столько упорнымъ, сколько однообразнымъ, и значеніе этой «безумной» борьбы сатирическаго поэта съ недугами и язвами своего вѣка постепенно умалается по мѣрѣ того, какъ мы отъ замысловъ переходимъ къ исполненію. Нерѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ со статьями *Петербургскаго Листка*, обличительное усердіе котораго такъ высоко цѣнятся столичными дворниками и лавочниками. Г. Некрасовъ не брезгаетъ говорить своимъ «неуклюжимъ стихомъ» о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ каналахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дышать лѣтомъ обитатели столицы. Въ стихотвореніяхъ подобнаго содержанія, въ самомъ тонѣ встрѣчается замѣчательно близкое сходство съ благонамѣренно-обличительными статьями уличныхъ листовъ. Вотъ небольшой примѣръ изъ сатиры *О погоду*, гдѣ г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ «бичуетъ» недостатки Петербурга лѣтомъ:

Но кто лѣтомъ толкается въ немъ,  
Тотъ ему одного пожелаетъ —  
Чистоты, чистоты, чистоты!  
Грязны улицы, лавки, мосты,  
Каждый домъ зодотухой страдаетъ:  
Штукатурка валится — п бѣсть  
Тротуаромъ идущій народъ.

А для вдушихъ есть мостовая,  
Не щадица бѣдныхъ боковъ;  
Лѣтомъ взроютъ ее, починяя,  
Да наставятъ зловонныхъ костровъ;  
Какъ дорогой бросаются въ очи  
На зеленомъ лугу свѣтляки,  
Ты замѣтишь въ туманныя ночи  
На вершинѣ костровъ огоньки —  
Берегись! Въ дополненіе, съ мая.  
Не весьма-то чиста, и всегда.  
Отъ природы отстать не желая,  
Защѣтаетъ въ каналахъ вода...

Санитарное содержаніе этихъ строкъ и псевдѣжая острота о петербургскихъ каналахъ, защѣтающихъ весною, чтобы не отстать отъ природы, прямо указываютъ, что вдохновеніе поэта заимствовано въ настоящемъ случаѣ изъ фельетоновъ весьма не высокаго свойства. На поэта отразилось уже пониженіе уровня петербургскаго журнализма, замѣтное съ шестидесятыхъ годовъ.

Мы имѣли уже случай указать въ началѣ этой статьи на близкую связь поэзіи г. Некрасова съ судьбами петербургской журналистики. Дѣйствительно, едва ли есть другой поэтъ, творчество котораго находилось бы въ такой роковой зависимости отъ уровня журнальных идей. Лучшимъ періодомъ въ поэтической дѣятельности г. Некрасова были сороковые и пятидесятые годы, то-есть именно тѣ годы, когда петербургская журналистика обнаруживала нѣкоторую жизнеспособность. Хотя и въ этотъ періодъ большая часть стихотвореній г. Некрасова представляется весьма слабою въ смыслѣ непосредственнаго художественнаго творчества, хотя лучшія его произведенія носятъ несомнѣнную печать журнальных вѣяній, но самыя эти вѣянія были свѣжѣе. Журналистика хотя становилась болѣе и болѣе тенденціозною, но тенденціозность еще не противопоставлялась таланту. не исключала самостоятельной работы мысли. Притокъ общественныхъ идей въ художественную литературу первоначально сообщилъ ей большую глубину содержанія, и одинъ изъ самыхъ даровитыхъ ревнителей тогдашняго журнализма, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія очень бы удивился, если бы ему сказали, что черезъ двадцать лѣтъ тѣ живыя силы, которыя онъ стремился вызвать въ литературѣ, замкнутся въ заколдованный кругъ либеральной формалистики и приведутъ къ полному застою и мертвечинѣ.



Наше журнальное движеніе съ шестидесятихъ годовъ послѣдовало однакожъ именно по этому злополучному пути. Живая струя, питавшая ее въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ, видимо изсякла, и съ тѣмъ вмѣстѣ измельчало ея внутреннее содержаніе. Самостоятельная работа мысли замѣнилась формализмомъ; перестали искать живого и свѣжаго слова, авторской индивидуальности, потому что всякая индивидуальность враждебна предустановленной тенденціи. Въ предыдущей статьѣ нашей: *Нужна ли намъ литература?* мы видѣли, до какой степени понизились требованія, предъявляемыя къ литературѣ повѣйшею критикой. Мы видѣли, что даже тѣ произведенія Гоголя, за которыми критика Вѣлинскаго признавала огромное общественное значеніе, не удовлетворяютъ современный журнализмъ, потому что представляютъ нѣчто болѣе глубокое и высшее, чѣмъ эфемерные интересы журналистики. Это мелкобуржуазное современнаго журнальнаго уровня выразилось еще яснѣе въ слѣдующей статьѣ г. Пыпина (*Вѣстникъ Европы*, май), посвященной Вѣлинскому. Критикъ нашихъ дней даетъ оцѣнку критика сороковыхъ годовъ, при чемъ огромное разстояніе между ними сказывается противъ воли г. Пыпина съ полною выразительностью. Г. Пыпинъ увидѣлъ въ Вѣлинскомъ совсѣмъ не то, что, конечно, составляетъ его главную заслугу. Замѣчательный критическій талантъ Вѣлинскаго, его горячая проповѣдь въ пользу художественности и талантливости въ литературѣ, его эстетическое чутье, помогшее ему разгадать значеніе Пушкина и Гоголя въ нашей поэзіи, все это осталось совершенно незамѣченнымъ для г. Пыпина. Современный журналистъ увидѣлъ въ Вѣлинскомъ только одно достоинство, одну заслугу — *направленіе*. Можно думать, что, по мнѣнію г. Пыпина, никакого дарованія вовсе не требуется въ литературѣ, а нужно только направленіе. И дѣйствительно таковъ взглядъ, таковы требованія современнаго журнализма. Понятно, что какъ скоро журналистика замыкается въ безплодный формализмъ направленія, въ ней прекращается всякая живая производительность. Направленіе, лишенное внутренняго содержанія, враждебное всякому поступательному движенію въ смыслѣ изученія и разработки нравственныхъ и общественныхъ задачъ, не можетъ повести ни къ чему другому, кромѣ толченія воды и пересыпанія изъ пустого въ порожнее. Возможна ли литературная производительность тамъ, гдѣ на все есть готовая формула, гдѣ всѣ явленія жизни предрѣшены и

гдѣ всякая попытка глубже всмотрѣться въ эти явленія и дать имъ болѣе вѣрное и жизненное освѣщеніе — заранѣе отвергается какъ несогласная съ *такимъ-то направлениемъ*.

Бѣлинскій съ извѣстной точки зрѣнія былъ писатель того самаго направленія, которое современный петербургскій журнализмъ признаетъ господствующимъ и единственно здравымъ. Но Бѣлинскій, конечно, энергически протестовалъ бы противъ такого сближенія, если-бы судьба привела его увидѣть плоды, произросшіе изъ брошенныхъ имъ сѣмянъ. Невозможно болѣе глубокое паденіе, какъ то, которое испытала наша журналистика въ періодъ времени, протекавшій отъ «Литературныхъ мечтаній» Бѣлинскаго до «Литературныхъ характеристикъ» г. Пыпина. При Бѣлинскомъ мы видѣли журналистику горячо и искренно борющуюся противъ застоя, формализма и бездѣйствія мысли, подражательности и бездарности. Журналистику, которая въ литературѣ цѣнила прежде всего талантъ и ждала отъ писателя свободнаго, живого слова, просвѣщенной мысли, самостоятельно выработаннаго убѣжденія. Направленіе созданное у насъ Бѣлинскимъ, въ которомъ современный журнализмъ, глазами г. Пыпина, ничего болѣе не видитъ кромѣ, какъ называемыхъ «освободительныхъ идей», видѣло освобожденіе прежде всего въ полнотѣ внутренняго содержанія нашей литературы и радостно шло навстрѣчу всякому свѣжему дарованію, находило ли оно его въ сатирѣ Гоголя или въ антологическхъ стихотвореніяхъ Майкова. Недостатокъ болѣе серьезнаго образованія постоянно вредилъ Бѣлинскому и заставлялъ его бросаться въ крайности, печальнымъ образомъ отзывавшіяся на будущихъ судьбахъ нашего журнальнаго движенія; но въ этихъ крайностяхъ преимущественно виноваты тѣ зловѣщія силы, которыя послѣдовательно низвели нашу журналистику до ея нынѣшняго плачевнаго уровня. Настоящаго Бѣлинскаго надо искать не въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности, и въ особеннсти не въ уклоненіяхъ его послѣдователей, а въ его статьяхъ первой половины сороковыхъ годовъ, когда имъ руководило его художественное чутье.

Пониженіе уровня журнальныхъ идей, обнаружившееся у насъ съ начала шестидесятыхъ годовъ, отразилось на поэтической дѣятельности г. Некрасова тѣмъ сильнѣе, что поэзія его постоянно вдохновлялась журнальными мотивами, и изъ нихъ заимствовала свою силу. Если въ предшествовавшій литературный періодъ, при

болѣе высокому уровню журналистики, муза г. Некрасова возвышалась иногда до произведеній талантливыхъ, каково напримѣръ стихотвореніе: *Бду ли ночью по улицѣ темной*, то въ послѣдніе годы произведенія этого поэта упали до того низменнаго уровня, на которомъ косятъ современный петербургскій журнализмъ. Вѣрный господствующимъ журнальнымъ идеямъ въ эпоху ихъ сильнаго развитія и жизненности, онъ остался вѣренъ имъ и при нынѣшнемъ ихъ мелководьи, и раздѣлилъ съ ними ихъ паденіе. Разница между предыдущимъ и послѣдующимъ періодами въ поэтической дѣятельности г. Некрасова такъ же замѣтна и существенна, какъ и между журналистикой сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ и журналистикой современною. Заимствованная сила лучшихъ прежнихъ стихотвореній его изсякаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ она изсякла въ пытавшемъ его источникѣ. Поэтъ оставляетъ общія идеи добра, блага, правды, составлявшія внутреннее содержаніе литературы предшедшаго періода, и обращается къ тѣмъ мелкимъ, такъ сказать, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла, которые выступаютъ на первый планъ въ самой журналистикѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ оставляетъ всякая забота о художественныхъ цѣляхъ поэзіи, такъ какъ эти цѣли отвергнуты и осмѣяны повѣйшею журналистикой. Стихъ г. Некрасова, весьма небрежный и прежде, но въ своей небрежности не лишенный иногда силы и выразительности, въ послѣднихъ произведеніяхъ его становится совершенно прозаическимъ и водянистымъ: поэтъ какъ бы вполне подчиняется требованіямъ новой критики, которая ищетъ въ писателѣ только неуклоннаго обращенія около нѣсколькихъ темъ, предрѣшенныхъ стереотипными формулами петербургскаго либерализма.

Этотъ печальный упадокъ поэтическаго творчества отразился въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова не только вообще, но и въ частностяхъ. Поэтъ тщательно слѣдитъ за всѣми отклоненіями идей петербургскаго журнализма, и если не предупреждаетъ ихъ, то всегда служитъ вѣрнымъ ихъ отголоскомъ. Такъ, напримѣръ, его отношенія къ русской народности измѣнились кореннымъ образомъ, соответственно новымъ отношеніямъ къ ней петербургской журналистики. Извѣстно, что вмѣсто нѣкотораго идеализованія русскаго простолюдина, вмѣсто исканія въ его природѣ здоровыхъ пачаль, журналистика шестидесятихъ годовъ стала относиться къ народу почти ругательно, избочивая его крайнюю тупость, не-

щету и грязь; вмѣсто народнаго молодечества и ухорства, выступили на сцену идиотизмъ и забитость, безпробудное пьянство и кабацкая брань; вмѣсто красныхъ рубахъ, плисовыхъ шароваръ и гармоникъ — лохмотья, рубища, зеленый полуштофъ и окровавленные кулаки. Въ quasi-народной литературѣ, — литературѣ г. Рѣшетникова, гг. Успенскихъ и пр. — повѣяло новымъ, особымъ запахомъ, который г. Некрасовъ, со свойственною ему чуткостью ко всѣмъ журнальнымъ явленіямъ, тотчасъ опредѣлилъ, сказавъ, что смѣсь

....водки, конюшни и пыли —  
Характерная русская смѣсь.

Уподобно съ тѣмъ, и самъ г. Некрасовъ сталъ рисовать русскихъ мужичковъ другими красками. Въ одной изъ его послѣднихъ поэмъ: *Кому на Руси жить хорошо*, русскіе мужички такимъ образомъ выражаютъ свои понятія о блаженствѣ:

Чтобъ вошь, блоха паскудна  
Въ рубахахъ не плодилась,  
Потребовалъ Лука.  
— Не прѣли бы онученьки,  
Потребовали Губины...

Всякій согласится, что русскій народный букетъ вышелъ тутъ погрѣше «смѣсь водки, конюшни и пыли», и что до г. Некрасова одинъ только г. Рѣшетниковъ возвышался до подобнаго реализма изображеній... Не дурны также краски, которыми г. Некрасовъ рисуешь сельскихъ ловеласовъ и прелестницъ:

Куда же ты, Оленушка?  
Постой, еще дамъ пряничка,  
Ты, какъ блоха проворная,  
Наблась и упрыгнула,  
Погладить не далась!  
.....  
Эй, парень, парень глупелькій,  
Оборванный, паршивенькій,  
Эй, полюби меня,  
Меня простоволосую,  
Хмельную бабу, старую,  
Зааа-паа-чающую!

Въ сущности эта новая народность такъ же далека отъ настоящей, такъ же запятвована и поддѣльна, какъ народность *Огородника*; но новыя краски на палитрѣ г. Некрасова очень хорошо указываютъ въ какую сторону направились современные литературныя вкусы.

Общественныя задачи, о которыхъ такъ много любить говорить современная журналистика и за равнодушіе къ которымъ она такъ горько упрекаетъ беллетристовъ предыдущей эпохи, неминуемо должны были сузиться при томъ пониженіи идей и понятій, которое настало въ журналистикѣ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Мы уже говорили, что общія идеи блага, добра, правды, такъ-называемые общіе гражданскіе мотивы, уступили мѣсто мелкимъ, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла. У г. Некрасова есть цѣлая серія стихотвореній, посвященныхъ этимъ темамъ, то-есть вѣчнымъ судьбамъ нашего печатнаго слова. Выходить, напримѣръ, новый цензурный уставъ, г. Некрасовъ тотчасъ пишетъ стихотвореніе, въ которомъ типографскій разсылный слѣдующимъ либерально-водевилънымъ образомъ воспѣваетъ этотъ фактъ:

Баста ходить по цензурѣ.  
Ослободилась печать.  
Авторы наши въ натурѣ  
Стали статейки пушать.  
Къ нимъ да къ редактору нынѣ  
Только и носимъ статьи...  
Словно повисли въ чинѣ.  
Ожили дѣтки мои!  
Каждый теперича кротокъ.  
Ну, да и намъ-то расчетъ:  
На восемь гривенъ подметокъ  
Меньше износится въ годъ!

Въ фактѣ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсылнаго, что «авторы наши въ натурѣ стали статейки пушать», и что дядя Мишай по этому случаю износитъ менѣ подметокъ. Въ другомъ стихотвореніи, *Наборщики*, этотъ нѣсколько странный взглядъ на свободную печать выраженъ г. Некрасовымъ еще конкретнѣе: отмѣна цензуры оказывается важною потому, что наборщикамъ дорогъ порядокъ, и они радуются что впередъ не придется переверстывать наборъ вслѣдствіе цензурныхъ помарокъ.

Въ работъ безпорядокъ  
Намъ сокращаетъ вѣкъ.  
И лишній рубль не сладокъ,  
Какъ боленъ человекъ...  
Но вотъ свобода слова  
Негаданно пришла,  
Не такъ ужъ безтолково,  
Авось, пойдутъ дѣла!

Ужъ не прописируетъ ли г. Некрасовъ, и не хочетъ ли сказать, что отрицательная цензура подѣйствовала на безтолковость петербургской печати только въ томъ смыслѣ, что наборъ сталъ верстать сразу?

Отдавъ поэтическое привѣтствіе новому факту, г. Некрасовъ продолжаетъ тщательно отмѣчать по газетамъ дѣйствіе этого факта въ жизни. Онъ узнаетъ, напримѣръ, что было нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, и пишетъ на эту тему стихотвореніе: *Осторожность*. Попалось ему въ газетахъ свѣдѣніе, что какая-то книга уничтожена по приговору суда, и у него готово стихотвореніе:

Пропала книга! Ужъ была  
Совѣсьмъ готова — вдругъ пропала, и т. д.

Тутъ опять его поражаетъ не внутреннее содержаніе факта, а фактъ самъ по себѣ, такъ сказать, внѣшній безпорядокъ явленія. Его беспокоитъ мысль, что вѣдь, можетъ быть, въ книгѣ слѣдовало выкинуть всего только «двѣ-три страницы роковыя», а остальное дозволить. А между тѣмъ уничтожена вся книга, и такимъ образомъ

Затраченъ даромъ капиталъ,  
Пропали хлопоты большія.

Если бы судъ вырѣзалъ только двѣ-три странички, капиталъ пропалъ бы небольшой, хлопоты также были бы умиротворенныя, и поэтъ «свободнаго слова» вѣроятно совершенно бы успокоился. Что жъ, у всякаго своя точка зрѣнія, и г. Некрасовъ имѣетъ полное право смотрѣть на уничтоженіе книги со стороны «затраченного даромъ капитала». Только напрасно онъ полагаетъ, что эту точку зрѣнія съ нимъ «раздѣлитъ вся Россія».

Тема показалась г. Некрасову настолько благодарною, что онъ возвратился къ ней въ длинномъ стихотвореніи *Судъ*, названномъ имъ «современною повѣстью». Въ этой вялой повѣсти, написанной стихами оперетокъ Александринскаго театра, разсказывается, какъ

къ писателю явился въ полночь полицейскій чиновникъ, требуя его на судъ за предосудительныя мѣста въ его книгѣ. Конечно, это только поэтическая вольность, потому что требованіе къ гласному суду передается авторамъ болѣе простымъ порядкомъ, безъ таинственныхъ звонковъ въ полночь и безъ полицейскихъ офицеровъ со «звукомъ шпоръ». Но дѣло не въ этомъ. Судъ присуждаетъ автора къ мѣсячному тюремному заключенію, во время котораго злощастнаго узника допимають блохи, клопы, запахъ тютюна и разговоры какого-то либеральнаго гвардейскаго офицера. Г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ заканчиваетъ свою повѣсть:

Блоха — безсонница — тютюнъ —  
Усатый офицеръ болтунъ —  
Тютюнъ — безсонница — блоха —  
Все это мелочь, чепуха!  
Но вѣришь ли, читатель мой!  
Такъ иногда съ блохами бой  
Былъ тошенъ; смрадомъ тютюна  
Такъ жизнь была отравлена,  
Такъ больно клопъ меня кусалъ,  
И такъ жестоко допималъ  
Что день, то новый либераль —  
Что и закался писать...

Итакъ, попади осужденный авторъ на такую гауптвахту, гдѣ нѣтъ блохъ и клоповъ, гдѣ сторожа вмѣсто тютюна курятъ папиросы братьевъ Петровыхъ, и гдѣ къ заключеннымъ не являются для либеральныхъ бесѣдъ гвардейскіе офицеры, герой «современной повѣсти», надо думать, былъ бы совершенно доволенъ, а г. Некрасовъ совершенно спокоенъ.

Относясь самъ такимъ вѣрнымъ образомъ къ духовнымъ интересамъ общества и литературы, г. Некрасовъ требуетъ отъ русскаго народа весьма не малаго. Въ поэмѣ его: *Кому на Руси жить хорошо*, мы находимъ слѣдующія пожеланія, на этотъ разъ даже не заимствованныя изъ газетныхъ фельетоновъ, потому что и фельетоны въ наше время стали смотрѣть на жизнь гораздо трезвѣе:

Эхъ, эхъ! придетъ ли времечко,  
Когда (приди желанное!...)  
Дадутъ понять крестьянину,  
Что рознь портретъ портретнику,  
Что книга книгъ рознь?

Когда мужикъ не Блюхера  
И не милорда глупаго —  
Бѣлинскаго и Гоголя  
Съ базара понесутъ?  
Ой, люди, люди русскіе!  
Крестьяне православные!  
Слыхали ли когда-нибудь  
Вы эти пмепа?  
То 'мена великія,  
Носили ихъ, прославили  
Заступники народныя!  
Вотъ вамъ бы ихъ портретки  
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,  
Ихъ книги прочитать...

Къ сожалѣнію, при совершенномъ паденіи журналистики, кругъ журнальныхъ и газетныхъ темъ весьма ограниченъ, и г. Некрасовъ видимо испытываетъ затрудненіе въ пріисканіи сюжетовъ для своей поэтической дѣятельности. Изъ толстыхъ журналовъ совсѣмъ исчезла публицистика, притокъ новыхъ идей прекратился, старыя опошлелись и замкнулись въ либеральную формалистику. При такомъ положеніи дѣлъ г. Некрасовъ нашелъ весьма удобнымъ эксплуатировать старыя историческія факты, именно 14 декабря 1825 года, вѣроятно разчитывая, что интересъ событія возмѣститъ бѣдность поэтического творчества и искупить прозаичность стиха, уже не «суроваго и неуклюжаго», а водянистаго и вялаго. Половина вышедшаго недавно пятаго тома стихотвореній г. Некрасова посвящена 14-му декабря. Тутъ мы находимъ поэму *Дѣдушка*, въ которой разсказывается, какъ внукъ декабриста все разспрашивалъ папеньку, что его дѣдъ, и какъ самъ дѣдушка наконецъ вернулъся домой, но на всѣ вопросы любопытнаго внука отвѣчаетъ: «Вырастешь, сына, узнаешь...» Разсказъ пересыпанъ самыми прозаическими благомысліемъ, въ родѣ:

Зрѣлище бѣдствій народныхъ  
Невыносимо, мой другъ,  
Счастье умовъ благородныхъ  
Видѣть довольство вокругъ...

Или:

Солнце не вѣчно сіяетъ,  
Счастье не вѣчно везетъ;  
Каждой страпѣ наступаетъ



Рано или поздно чередъ,  
Гдѣ не покорность тупая —  
Дружная сила нужна;  
Гранетъ бѣда роковая —  
Скажется мигомъ страна.  
Единодушье и разумъ  
Всюду дадутъ торжество —  
Да не придутъ они разомъ.  
Вдругъ не создать ничего, — и т. д.

Эта азбучная мораль, не лишенная нѣкотораго политическаго и претензіоннаго оттѣнка, лучше всего свидѣлствуетъ, до какой степени истощилось содержаніе петербургской прогрессивной литературы: г. Некрасовъ, такъ горячо возстававшій нѣкогда противъ морали прописей, кончаетъ тѣмъ, что самъ обращается къ ней, не находя болѣе пищи въ нѣкогда вдохновлявшей его журналистикѣ.

Двѣ поэмы, подъ общимъ названіемъ *Русскія женщины*, иллюстрируютъ тотъ же историческій фактъ. Содержаніе обѣихъ поэмъ совершенно одинаково: въ одной княгиня Т—ая, въ другой княгиня В—ая, растутъ въ богатомъ родительскомъ домѣ, выходятъ замужъ, мужья ихъ попадаютъ въ катастрофу 14-го декабря и ссылаются въ Сибирь. Жены рѣшаются ѣхать вслѣдъ за ними, чтобы раздѣлить ихъ изгнаніе, преодолеваютъ все трудности пути, все препятствія, поставляемыя имъ людьми и природою, и наконецъ соединяются съ мужьями въ сибирскихъ рудникахъ. Такова историческая канва обѣихъ поэмъ; неблагоприятною ее конечно нельзя назвать, и попалась она въ руки поэта, дарованіе котораго не выдохлось до такой степени, какъ дарованіе г. Некрасова, наша поэзія могла бы обогатиться произведеніемъ высокаго художественнаго интереса. Къ сожалѣнію, сюжетъ оказался не по силамъ г. Некрасову, и все, что въ его поэмахъ не относится прямо къ историческому факту, поражаетъ плоскостью и сухостью. Это произошло, конечно, оттого, что самаго сюжета г. Некрасовъ почти не коснулся, почувствовавъ только тенденціозную его сторону. Внутреннее содержаніе факта не открылось г. Некрасову, не прошло черезъ горнило поэтическаго творчества; онъ удовольствовался тѣмъ, что разрубилъ вѣшнюю фабулу разсказа на рюмованныя строки — остальное должна сдѣлать тенденція. *Направленіе* удовлетворено — чего же болѣе?

Можно пойти далѣе и доказать, что г. Некрасовъ своимъ прикосновеніемъ даже испортилъ сюжетъ. Поэзія — вещь весьма опасная.

и когда поэтъ въ данную минуту не находитъ въ себѣ поэтическихъ струнъ, гораздо лучше прекратить рѣзанную рѣчь и передать фактъ въ безыскусственной простотѣ прозы. Неудачный стихъ всегда въ тысячу разъ прозаичнѣе прозы; а у г. Некрасова въ *Русскихъ женщинахъ* столько неудачныхъ стиховъ, что поэзія самого факта исчезаетъ въ нихъ, и героини поэмъ независимо отъ авторской воли являются почти въ карикатурномъ видѣ. Какой поэтический образъ не потерпитъ ущерба, когда его заставляютъ выражаться такими рогатыми виршами:

Теперь расскажу вамъ подробно, друзья,  
Мою роковую побѣду.  
Вся дружно и грозно возсталъ семья,  
Когда я сказала: «я ѣду!»  
.....  
Когда собрались мы къ обѣду,  
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:  
«На что ты рѣшилась? — Я ѣду!»

Конечно, никогда болѣе драматическое движеніе поэтической женской души не было выражено такими плоскими стихами... Г. Некрасовъ пытается даже нарисовать вѣрный образъ своей героини и заставляетъ ее говорить себѣ:

Сказать ли вамъ правду? Была я всегда  
Въ то время царицею бала:  
Очей моихъ темныхъ огонь голубой  
И черная съ синимъ отливомъ  
Большая коса, и румянецъ густой  
На личикѣ смугломъ, красномъ,  
И ростъ мой высокій, и гибкій мой станъ,  
И гордая поступь — плѣняли  
Тогдашнихъ красавцевъ...

Хотя можно придумать надъ *огнемъ темныхъ очей*, по приведеннымъ строкамъ еще ничѣмъ не оскорбляютъ чувства красоты. Но г. Некрасовъ заставляетъ героиню дополнить свой портретъ слѣдующими неумѣстными и плоскими чертами:

Училась я много; на трехъ языкахъ  
Читала. Замѣтна была я  
Въ парадныхъ гостинныхъ, на свѣтскихъ балахъ,  
*Искрено танцую, играю;*

Могла говорить я почти обо всемъ,  
Я музыку знала, я пѣла,  
*Я даже отлѣсно скакала верхомъ,*  
Но думать совсѣмъ не умѣла.

Эту характеристику поэтъ дополняетъ еще такою картинкой:

А ночью ящикъ не сдержалъ лошадей,  
Гора была страшно крутая,  
И я полетѣла съ кибиткой моей  
Съ высокой вершины Алтая!  
.....  
Дорога безъ сѣгю — въ телѣгъ! Сперва  
Телѣга меня занимала,  
Но скоро потомъ, ни жива ни мертва.  
Я прелесть телѣги узнала.  
Узнала и голодъ на этомъ пути;  
Къ несчастію мнѣ не сказали  
Что тутъ ничего не возможно найти,  
Что почти Бурята держали.  
Говядину вялятъ на солищѣ они.  
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ.  
*И тотъ еще съ саломъ!* Господь сохрани  
Попробовать вамъ, непривычнымъ!  
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задалъ балъ:  
Какой-то купецъ тороватый  
Въ Иркутскѣ замѣтилъ меня, обогналъ  
И въ честь мою праздникъ богатый  
Устроилъ... Спасибо! я рада была  
И вкуснымъ пельменямъ, и бань...  
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала  
Въ гостиной его на диванѣ...

Съ этою картинкой можетъ поспорить только нарисованный тѣмъ же г. Некрасовымъ сибирскій пейзажъ съ породцемъ, поющимъ на странномъ языкѣ:

Луна плыла среди небесъ  
Безъ блеска, безъ лучей,  
Налѣво былъ угрюмый лѣсъ.  
Направо — Енисей.  
Темно! Навстрѣчу ни души,  
Ямщикъ на козлахъ спалъ,  
Голодный волкъ въ лѣсной глуши  
Пронзительно стоналъ.

Да вътеръ бился и ревѣлъ,  
Играя на рѣкѣ,  
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ  
На странномъ языкѣ (?)...

Приведенныхъ выдержекъ, мы полагаемъ, вполне достаточно, чтобы читатели могли судить, какую ничтожность представляютъ *Русскія женщины* въ отношеніи не только художественномъ, но даже просто литературномъ. Но г. Некрасовъ очевидно и не заботился ни о томъ, ни о другомъ. Вѣрный всякому новому журнальному толчку, г. Некрасовъ въ настоящее время безъ сомнѣнія исповѣдуетъ идею, настойчиво проводимую г. Пыпиннымъ и всею вообще петербургскою печатью — идею, по которой отъ писателя ничего болѣе не требуется кромѣ направленія. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи сюжетъ *Русскихъ женщинъ* оказался пригоднымъ — пригоднымъ конечно въ весьма условномъ смыслѣ, такъ какъ между общественнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ и журнальными теченіями нашего времени нѣтъ ничего общаго. Остальное должны довершить нѣкоторые придаточныя подробности, введенныя поэтомъ очевидно въ прямомъ расчетѣ именно на журнальныя теченія нашихъ дней. Такъ, напримѣръ, въ Иркутскѣ губернаторъ убѣждаетъ княгиню Т — ую отказаться отъ ея намѣренія и вернуться назадъ. Видя ея непреклонность, онъ грозитъ ей предстоящими ей ужасами, и наконецъ объявляетъ, что если она желаетъ ѣхать далѣе къ мужу, то должна подписать отреченіе отъ своихъ дворянскихъ и гражданскихъ правъ. Поэтъ заставляетъ княгиню отвѣтить на это слѣдующимъ образомъ:

«У васъ съдая голова.  
А вы еще дитя.  
Вамъ наши кажутся права  
Правами — не шутя.  
Нѣтъ! имъ я не дорожу.  
Возьмите ихъ скорѣй!  
Гдѣ отреченье? Подпишу!  
И живо — лошадей!»

Княгиня В — ая встрѣчаетъ въ дорогѣ, идущей изъ Сибири транспортъ серебра, сопровождаемый военнымъ конвоемъ.

Вошелъ молодой офицеръ; онъ курилъ.  
Онъ мнѣ не кивнулъ головою,

Онъ какъ-то надменно глядѣлъ и ходилъ,  
И вотъ я сказала съ тоскою:  
«Вы видѣли вѣрно... извѣстны ли вамъ  
Тѣ... жертвы декабрьскаго дѣла...  
Здоровы они? каково-то имъ тамъ?  
О мужъ и знать бы хотѣла...»  
Нахально ко мнѣ повернулъ онъ лицо —  
Черты были злы и суровы —  
И выпустивъ изо-рту дыму кольцо,  
Сказалъ: «несомнѣнно здоровы,  
Но я ихъ не знаю, и знать не хочу,  
И мало ли каторжныхъ видѣлъ?»

Черта маленькая, но она заслуживаетъ упоминанія, потому что характеризуетъ несвободность мысли, для которой къ извѣстнымъ явленіямъ, типамъ и единицамъ какъ бы обязательны именно тѣ, а не другія отношенія. Конвойный офицеръ въ современной беллетристикѣ непременно долженъ быть изображенъ *монстромъ*.

Несвободныя отношенія печатнаго слова къ жизни составляютъ главный недугъ нашего современнаго положенія. Въ духовной области нашей исчезло творчество, и мы питаемся тенденціей. Но тенденція не можетъ замѣнить литературу, такъ же какъ ремесло не можетъ замѣнить искусства; тенденція всегда будетъ игромъ для духовной дѣятельности, и мы видѣли, какимъ зловѣщимъ образомъ это иго поработало писателей съ задатками дарованія.

Упомянутый недугъ нашъ ведетъ начало не со вчерашняго дня. Первые симптомы его провидѣлъ еще Пушкинъ, и въ послѣдніе годы своей жизни сознательно съ ними боролся. Ихъ провидѣлъ и другой поэтъ той же эпохи, Мицкевичъ. На своихъ лекціяхъ въ Collège de France, а также въ весьма интересной статьѣ въ журналѣ *Le Globe* 1837 года, Мицкевичъ очень ясно выражаетъ мысль, что для русской литературы только въ лицѣ Пушкина открывались далекіе горизонты, и что со смертію Пушкина русская литература кончилась. «Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, писалъ Мицкевичъ въ упомянутой статьѣ, онъ (Пушкинъ) прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Знавшіе его въ это время замѣчали въ немъ болшую перемѣну. Въместо того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничныя журналы, которые пѣкогда занимали его исключительно, онъ цѣль болѣе любилъ вѣлущиваться въ рассказы народ-

ныхъ былищъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе. Очевидно поддавался онъ внутреннему преобразованію... Что происходило въ душѣ его? Принимала ли она безмолвно въ себя дуновеніе этого духа, который животворилъ созданія Манцони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго? Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для русской литературы. Я ожидалъ, что скоро явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ своего дарованія, созрѣвшимъ опытностію, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со мною эти ожиданія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды»<sup>\*)</sup>). На лекціяхъ въ Парижѣ, рассказавъ о смерти Пушкина, Мицкевичъ говорилъ такимъ образомъ: «Такова была кончина русской литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно, остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, этотъ человѣкъ, столь ненавидимый и преслѣдуемый всѣми партіями; онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнилъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? Пушкинъ не былъ ли всѣхъ умнѣе? Пѣвцы сонетъ и балладъ? Пушкинъ далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: русская литература на долгое время заторможена»<sup>\*\*)</sup>).

Мнѣніе высказано Мицкевичемъ очень рѣзко, но можемъ ли мы отказать ему вовсе въ основательности? Онъ смотрѣлъ на литературу, конечно, не съ той точки зрѣнія, съ какой смотреть на нее г. Пышинъ. Мицкевичъ понималъ литературу въ смыслѣ высшаго духовнаго творчества, въ какомъ она завѣщана классическою древностію, въ какомъ она является въ твореніяхъ Данте, Шекспира, Гёте и Байрона. Въ этомъ смыслѣ было ли у насъ что-нибудь сдѣлано послѣ Пушкина?

<sup>\*)</sup> „Русскій Архивъ“, 1873, іюнь, стр. 1068 и 1069.

<sup>\*\*) Тамъ же стр. 1079.</sup>

Значеніе Пушкинской поэзіи, уровень Пушкинской эпохи для насъ еще не совсѣмъ ясны. Развитіе письменности въ послѣдующее время представляется намъ неоспоримымъ и всеобнимающимъ успѣхомъ; мы охотно вѣримъ, что Пушкинъ былъ только поэтъ въ ограниченномъ значеніи этого слова, тогда какъ тотъ же Мицкевичъ свидѣтельствуеъ о томъ, что «когда говорилъ онъ о политикѣ виѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человѣка заматерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентскихъ преній»<sup>\*)</sup>). Мы представляемъ себѣ наши тридцатые года временемъ умственного дилеттантизма, и начинаемъ исторію нашей духовной возмужалости съ появленіемъ Бѣлинскаго. Но люди, бывшіе живыми свидѣтелями той эпохи, говорятъ о ней иначе. «Вспоминая всю обстановку того времени, — выражается одинъ изъ ветерановъ русской литературы, — все это движеніе мыслей и чувствъ, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-ту баснословную эпоху. Личности, присутствіемъ своимъ озарявшія этотъ міръ, исчезли, жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась, улечутились, выдохлись благоуханія, которыми былъ пропитанъ воздухъ этихъ ясныхъ и обаятельныхъ дней. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? Надѣюсь что нѣтъ»<sup>\*\*)</sup>).

Восходя къ Пушкинскому періоду нашей поэзіи, мы видимъ постепенное пониженіе ея уровня при каждомъ послѣдующемъ поколѣніи. Сперва продолжается разработка Пушкинскихъ темъ, то-есть дѣйствуютъ тѣ «пѣвцы сонетовъ и балладъ», о которыхъ Мицкевичъ съ горестью вопрошаетъ: Пушкинъ не былъ ли умнѣе ихъ? Пушкинъ не превзошелъ ли ихъ? Потомъ къ этимъ Пушкинскимъ темамъ примѣшивается осадокъ горькаго, разочарованнаго чувства, печальное показаніе, насколько эпоха сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ была далека отъ бодрыхъ упованій и свѣтлыхъ идеаловъ Пушкинскаго времени. Затѣмъ поэзія падаетъ окончательно и претерпѣваетъ величайшее униженіе, становясь подспорьемъ и служебнымъ орудіемъ крохотныхъ журнальныхъ идеекъ. Въмѣсто Пушкина, наше время даетъ намъ г. Некрасова.

<sup>\*)</sup> Тамъ же стр. 1070.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же стр. 1086.

Нѣтъ причины думать, что это быстрое пониженіе духовнаго уровня есть окончательный и неотмѣнимый результатъ матеріальнаго прогресса, составляющаго содержаніе послѣднихъ десятилѣтій. Но нужно много времени, много упорнаго труда, много благопріятныхъ обстоятельствъ и счастливыхъ вліяній, чтобы поднять нашъ художественный и нравственный уровень до той высоты, на какой стоялъ онъ въ эпоху Пушкина.

\* \* \*

\*) Поэзія журнальныхъ мотивовъ! Подъ этимъ заглавіемъ въ 6-й книжкѣ «Русскаго Вѣстника» помѣщенъ разборъ всей поэтической дѣятельности г. Некрасова, «черпавшаго свое вдохновеніе изъ самаго сомнительнаго источника — петербургскаго журнализма». Въ то время, говоритъ авторъ, скрывшійся подъ буквою А., какъ другіе поэты некали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія изъ чужихъ рукъ, выработывалъ свою поэзію въ редакціяхъ и служилъ какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики».

Итакъ критикъ констатируетъ прежде всего тотъ несимпатичный ему фактъ, что поэтъ черпаетъ свое вдохновеніе въ редакціяхъ. Критику хотѣлось бы, что явствуетъ изъ общаго смысла его статьи, чтобы поэтъ черпалъ это вдохновеніе или въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства. Въ разсужденіи этихъ источниковъ болѣе всего удовлетворяетъ критика г. Фетъ. Онъ приводитъ нѣсколько стихотвореній изъ г. Фета и умиляется передъ прелестью Фетовой поэзіи. «Томительная нѣга», «не высказанныя муки», «непонятныя слезы», «несказанныя стремленія», какая-то «малютка изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи» — весь этотъ эстетическій мистицизмъ г. Фета авторъ предпочитаетъ «поэзіи журнальныхъ мотивовъ». Конечно, онъ, рѣшаясь называть Некрасовскую поэзію поэзіей, насвиставшій журнальными мотивами, не рѣшается назвать Фетовскую поэзію поэзіей, насвиставшій эстетическимъ мистицизмомъ. Онъ знаетъ, что уже вывелись добродушные и довѣрчивые читатели, вѣрившіе въ поэта, какъ жреца Аполлона,

\*) «Одесскій Вѣстникъ», 1873 г., № 196 («Очерки современной журналистики». С. Г. В.).



святая лира котораго молчить до тѣхъ поръ, пока «божественный глаголь до слуха чуткаго коснется». И только тогда, когда этотъ «глаголь» коснется поэта, послѣдній имѣетъ право ризмовать свою томительную тоску» и «несказанныя стремленія».

Тогда

Бѣжитъ онъ дикій и суровый  
И звуковъ, и смятенія полнъ,  
На берега пустынныхъ волнъ  
Въ широко-шумныя дубравы.

Г. Фетъ такъ и дѣлаетъ. Онъ, напр., въ стихотвореніи «Весеннія мысли» бѣжитъ «къ берегамъ, расторгающимъ ледъ», гдѣ «солнце теплое ходитъ высоко и душистаго ландыша ждетъ»; тамъ у поэта кровь восходитъ до ланитъ, и онъ восклицаетъ:

О, называй меня безумнымъ! Назови  
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабою*  
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви.  
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

«Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье», говорить по поводу этого четверостишія критикъ.

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!

Теперь я спрашиваю читателя, какой источникъ лучше: «божественный глаголь» или «редакція»? Если второй источникъ сомнителенъ, то первый не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно своей недоброкачественности. Конечно, подъ журнальными мотивами критикъ разумѣетъ мотивы, дѣлаемые, придуманные. Пусть такъ. Но развѣ для того, чтобы придумать умную мысль, не нужно быть умнымъ человѣкомъ. Но развѣ для того, чтобы передать умную мысль и наэлектризовать ею читателя, не нужно таланта? Человѣкъ, которому приходятъ въ голову умныя мысли, или который умѣетъ откликаться на умныя мысли, задержать ихъ въ своей головѣ, разработать и отлить въ поэтическую форму, гораздо выше человѣка, посягающаго, можетъ быть, и съ весьма умными, но тѣмъ не менѣе «невъсказанными», «непонятными» мыслями. Не знаю, кто насмѣялся г. Некрасову (конечно, не Аполлоновскій глаголь) такія вещи, какъ «У параднаго подтѣзда», «Пѣсня Еремушки»,

«Бѣду ли ночью по улицѣ темной», «Желѣзная дорога», «На Волгѣ», «Морозъ — красный носъ», «Русскія женщины» и много другихъ, но знаю, что «скорбное томленіе души и поэтическое чувство» вылилось въ этихъ произведеніяхъ, какъ плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ вы не найдете того, что находилъ Бѣлинскій у Пушкина, вы не найдете ни античной пластики, ни удивительнаго акустическаго богатства, ни сладостной нѣги, ни ропота волны, ни яркости молніи, ни прозрачности кристалла, ни благовонія и душистости весны, ни могучески богатырскаго меча, но вы найдете въ нихъ то нѣчто, что будить и шевелить вашу мысль, что цивилизуетъ ваши инстинкты, что воспитываетъ въ васъ социальнаго человѣка, что подвигаетъ васъ къ извѣковѣчнымъ идеаламъ, держащимъ въ тревогѣ человѣчество.

Критикъ все это игнорируетъ и казнить поэта нѣсколькими стихотвореніями, которые онъ называетъ водевилно-сатирическими, а именно «чиновникомъ, оставляющимъ съ сильнымъ міра сего съ глазу на глазъ красавицу — дочь», «бюрократомъ, живущимъ согласно съ строгой моралью и подкарауливающимъ похищенія своей жены, чтобы уличить ее съ полиціей», «помѣщикомъ, рыскающимъ по полямъ съ борзыми и ломающимъ ребра встрѣчнымъ» и т. д. Подтасовавъ такимъ образомъ всю поэтическую колоду г. Некрасова и сдавъ читателю одніѣ поэтическія двойки, критикъ говоритъ: «таковы постоянныя любимыя темы стихотвореній г. Некрасова, которые содѣйствовали упроченію его литературной славы».

Въ остальномъ критика носятъ характеръ самой дѣтской придирчивости. Напр., цитируется стихотвореніе поэта:

....Громъ ударилъ; буря стонетъ  
И снасти рветъ, и мачту клонитъ.  
Не время пѣсни распѣвать.  
Вотъ пѣсь — и тотъ опасность знаетъ  
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ.

Метафору поэта критикъ понялъ буквально и восклицаетъ: «Однако, что лучше: пѣсни пѣть, или лаять псомъ на вѣтеръ?» Ну скажите, можно ли такого критика читать серьезно. Вся статья «Поэзія журнальныхъ мотивовъ» есть рядъ дѣтскихъ придирокъ къ г. Некрасову. Чтобы не показаться читателю голословнымъ,

приведу еще одну — другую выдержку. «Въ фактъ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсылнаго, что

Авторы наши въ натурѣ  
Стали статейки пушать.

и что типографскимъ разсылнымъ

На восемь гривенъ подметокъ  
Меньше износится въ годъ».

Неужели г. А. хочется, чтобы поэтъ въ эту минуту *ослабѣлъ разумомъ* и написалъ подъ вліяніемъ «прилива» свободы какую-нибудь несоотвѣтствующую случаю штуку. Чѣмъ виноватъ поэтъ, что онъ не почувствовалъ «прилива», и въ фактъ отмѣны предварительной цензуры увидѣлъ только удобства для типографскаго разсылнаго? Или: Читателямъ, конечно, памятно стихотвореніе г. Некрасова: «Судъ». Въ этомъ стихотвореніи судъ присуждаетъ автора къ тюремному заключенію, во время котораго автора донимають блохи, клопы, запахъ тютюна и т. п. и донимають такъ больно, что авторъ даетъ обѣтъ не писать.

«Попади авторъ на лучшую гауптвахту, онъ, значить, былъ бы совершенно доволенъ», говоритъ г. А., нарочито забывающій, какую предварительную душевную пытку вынесъ авторъ. И т. д. въ этомъ родѣ \*).

---

\*) Еще за 1873 г. см. о Некрасовѣ: въ «Вѣстникѣ Европы», № 3 (библіографическая замѣтка на оберткѣ); «Сіяніе», № 17 (библіографія); «Русскіе поэты въ біографіяхъ и образахъ». Хрестоматія для всѣхъ. Изд. Гербеля, стр. 536—538. Сиб.

Примч. В. Зелинскаго.



Указатель страницъ, на которыхъ разбираются  
и упоминаются слѣдующія произведенія Н. А.  
Некрасова.

- |   |  |
|---|--|
| «Баба-Яга» 101.   | «О погодѣ» 146.  |
| «Блаженъ незлобивый поэтъ» 131.   | «Поэтъ и гражданинъ» 140.  |
| «Въ дорогѣ» 141.  | «Пропала книга» 41, 153.   |
| «Выборъ» 12.  | «Пѣсня Еремушки» 8, 164.   |
| «Газетная» 41, 49.  | «Причта о киселѣ» 12, 15.  |
| «Генераль Топтыгинъ» 17.  | «Пѣсня о трудѣ» 26.  |
| «Дѣдушка» 36, 155.  | «Пѣсня любви» 26.  |
| «Желѣзная дорога» 165.  | «Папаша» 28.   |
| «Живя согласно съ строгою моралью» 11.                                    | «Публика» 41, 48, 50.  |
| «Неизвѣстному другу» 27.  | «Разсмыслный» 47, 152, 166.  |
| «Извозчикъ» 8.  | «Русскія женщины» 65, 106, 112, 115, 117, 120, 129, 156, 157, 158 и 165. |
| «Катерина» 34.  | «Саша» 11.   |
| «Коробейники» 8, 18, 124 и 129.   | «Сватъ и женихъ» 34.   |
| «Кому на Руси жить хорошо» 20, 22, 65, 95, 120, 124, 126, 130, 151 и 154. | «Судъ» 12, 20, 41, 153, 166.   |
| «Медвѣжья охота» 26, 48 и 51.   | «Три страны свѣта» 66, 98.   |
| «Морозъ-красный носъ» 1, 8, 129 и 165.                                    | «Тройка» 8.  |
| «Муза» 143, 146.  | «Убогая и нарядная» 12.  |
| «Несчастные» 129.   | «У параднаго подѣзда» 164.   |
| «Наборщики» 152.  | «Филантропъ» 11, 12.   |
| «На Волгѣ» 8, 165.  | «Школьникъ» 8.   |
| «Огородникъ» 141, 152.  | «Бду ли ночью по улицѣ темной» 9, 11, 64, 150 и 165.                     |
| «Осторожность» 41, 153.   | «Эпилוגъ къ ненаписанной поэмѣ» 11.                                      |



